

От лауреата премий «Действующие лица» и «Триумф»!

Музей имени Данте



Глеб

ШУЛЬПЯКОВ

Глеб Юрьевич Шульпяков

Музей имени Данте

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6130173
Шульпяков Г. Ю. Музей имени Данте : Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978-5-699-65981-4

Аннотация

Рожденный в конце семидесятых в затухающей, словно спичка, стране СССР, герой романа Глеба Шульпякова мыкает свое существование между торговлей старыми книгами и случайными журналистскими приработками. Однажды найдя дневник безвестного переводчика Данте, герой открывает для себя мир чужого человека и находит пугающие и чарующие параллели между судьбами – его и своей собственной.

И вдруг понимает простую истину: без любви к женщине в существовании нет никакого смысла...

Содержание

Часть I	4
1. Остановка в тайге	4
2. Остров на море	9
3. Арбузная корка	13
4. Танки на улицах города	18
5. О чем говорили ночью	23
6. Человек с микроскопом	28
7. Банка из-под конфет «Моцарт»	33
8. Два потерпевших	35
9. Практика гавайских закатов	37
10. Желтый, зеленый и снова желтый	40
11. Квартира с двумя туалетами	43
12. Москва – «Москва»	47
13. Так это ты?	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Глеб Шульпяков

Музей имени Данте

Часть I

1. Остановка в тайге

Через два часа мотор глохнет, машина скатывается на обочину. В тишине что-то потрескивает, механический сверчок под капотом допеваёт, дотягивает свою песню. Но вскоре он стихает.

– Сева!

Тишина.

– Всеволод Юрьич, – я обращаюсь.

Сева – редактор программы, которую мы снимаем. По образованию он историк. В наушниках у Севы музыка, и я просто разглядываю его в зеркале. Лицо, покрытое редкой щетиной, невидящий взгляд. Он даже не заметил, что мы сломались.

Водитель палец за пальцем натягивает перчатки. Над лобовым стеклом у него прищиплена фотография мальчишки, это его сын. Перед тем как выйти из машины, он поднимает глаза на карточку.

От удара дверью по кабине прокатывается волна холода. Через стекло видно, как водитель угрюмо, словно машина сама должна ответить, что случилось, разглядывает радиатор. Сплюсывает, садится.

Я застегиваю куртку и вылезая. Грунт мерзлый, камни покрыты седым налетом. Пустая дорога рассекает тайгу, как след от бритвенной машинки. Ветра нет – на сопках видно, как мелко выточены зубцы елок. Ярко желтеют березы и горит красный семафор – клен или осина.

С обочины тропа забирает вверх. На холме можно снова проверить телефон, но чудес не бывает, связи нет. А дальше спуск, и стопки опавших листьев пружинят под ногами.

На дне оврага родник, он обложен замшелыми бревнами. Увеличенные водной линзой, со дна выпукло белеют камни.

Вода ледяная, пахнет железом; пью до ломоты в зубах. Куртка у меня непромокаемая, можно лечь прямо на листья. Закрываю глаза. Голоса на дороге почти не слышны, и тишина, нарушенная моим приходом, восстанавливается.

Худшее позади, но что именно? Ведь ничего особенного не случилось. И я лежу до тех пор, пока холод не проникает под куртку.

С триколором и логотипами федерального канала наш фургон посреди тайги похож на игрушку. Так нелепа банка из-под «колы», на которую натыкаешься в лесу, или пустая сигаретная пачка на пляже.

Народ уже на дороге – курят, проверяют телефоны. Из машины выбрался Михал Геннадьич, или дядя Миша, как называют режиссера в группе; с азартом хорошо выпавшегося человека дядя Миша осматривает машину.

– Масло, шланг, – выдает приговор. – Хана, Игорек.

Через минуту снова его голос:

– «Он ей: «Мне? Семьдесят!»»

Анекдот старый и дядю Мишу никто не слушает.

– «Я бы вам не дала!» – Она».

Дядя Миша переводит взгляд на Севу.

– «Да мне уже и не нужно...»

Тот, лузгая семечки, кивает.

Дядя Миша повторяет уже про себя:

– Да мне уже и не нужно.

Я пересчитываю людей. Поверить, что нашего осветителя увезли в больницу утром, невозможно. После сотни километров по тайге такое ощущение, что из города уехали неделю назад. Но это не так, еще утром мы были в Двинске.

Перед глазами серое, испуганное лицо, как он оправдывался с носилок: «Что-то с желудком, тушенка или пиво». Пытался раздвинуть побелевшие губы. А я даже не знал его имени.

Но график есть график, и мы выехали из Двинска без него. По дороге я думаю не о том, как мы обойдемся без света – свет может поставить оператор или дядя Миша, – а как нам, в сущности, повезло. Что, если бы его аппендицит открылся в тайге? В сломанной машине за двести километров от ближайшей больницы? Вот человек шутит, со всеми смеется. Поддакивает: «Пить надо меньше». А потом лежит на заднем сиденье и стонет от боли. И никто ничем не может помочь ему, никто и ничем.

Спроси себя: что бы ты чувствовал, глядя, как он умирает? Сострадание? Брезгливость? Или досаду, что график сорван и надо возиться с телом? Вглядываясь в лица людей в фургоне – разных убеждений, возраста и опыта, которых судьба свела под крышей одной машины, – я понимаю, что этот вопрос сейчас задает себе каждый. И ответ у каждого тоже свой.

Через два часа алкоголь выпит, анекдоты кончились. Сумерки. Уже не различить ни той красной осины, ни березы. Верхушки деревьев сливаются в темную полосу, сквозь которую едва сочится закат. Холодно.

Эта полоска напоминает ленту пишущей машинки. Когда верхняя часть покрывалась пробоинами, катушки меняли местами. Смешно, что пальцы до сих пор помнят это движение. Сколько все-таки ерунды хранится в человеческой памяти!

Мне хочется спросить Севу, ведь он тоже наверняка печатал на машинке. Но в этот момент дверь с лязгом отодвигается:

– Нет, нету.

В салон влезает техник, пожилой, но шустрый малый. Он успел залезть на соседнюю сопку, чтобы проверить связь.

В машине пахнет пивом и сушеной рыбой. Звуковик, со всеми ровный красавец-белорус Витя, уткнулся в компьютер и флегматично убивает кого-то на экране. Оператор включил фонарик и читает. Дядя Миша после перцовки дремлет. У Севы музыка.

Чем ближе ночь, тем меньше шансов, что сегодня нас отсюда вытащат. Надо готовиться к худшему – к ночевке. Сколько у нас еды? алкоголя? О том, что завтра утром катер на Остров, лучше не думать.

Час проходит в тоскливой дремоте, как вдруг по потолку пробегают блики. Два желтка, фары! Толкаясь, наши высыпают на дорогу. Мы кричим, поднимаем зажигалки – словно вокруг море и нужно, чтобы с корабля нас заметили.

Шелестя щебенкой, старенький «Москвич» тормозит. Сева проворно обходит машину.

– Прошу прощения, – нагибается к окну. – Позвольте представиться, вот мое удостоверение... Так неловко, но...

За рулем немолодая женщина. Взгляд спокойный, оценивающий. Предупреждает сразу:

– Только два свободных.

Я забираю из фургона сумку и сажусь на переднее.

– Не мешает? – она показывает на саженец. – Из Двинска, еду на дачу. Посадить.

– Что вы.

Салон забит пустыми банками, свободных мест действительно только два. Раздав указания, Сева устраивается тоже, мы трогаемся. Когда машина набирает скорость, банки в коробках дребезжат, а силуэты на дороге растворяются в сумерках. Жалко бросать их, уезжать в теплой машине. Но таков порядок: можно заменить оператора и арендовать новую машину, можно снять передачу без режиссера и звукооператора, но без редактора и ведущего передачи нет, и поэтому мы обязаны покинуть тонущий корабль первыми.

– Удача, – говорит женщина.

– То есть?

Она по-северному окает:

– По выходным-то машины редко.

Ей хочется узнать побольше – кто мы и что снимаем в этой глухомани. Но спросить она не решается, и Сева сам все рассказывает.

Саженец в ногах рвет карту. Кянда, Тамица, какие-то безымянные точки и кочки: между Двинской и Онежской губой тайга, населенных пунктов почти нет. Действительно, повезло.

В полудреме я вспоминаю Двинск, съемки на «Севмаше». Огромный короб храма и часовню-парикмахерскую. Стены с мотками колючей проволоки и смотровые вышки.

После досмотра на КПП наш фургон медленно едет по заводской территории. Пейзаж в окне сталкеровский – металлолом, остовы товарных вагонов, ржавые эллинги. Огромные кольца, сваленные вдоль дороги, похожи на секции трубопровода, покрытого толстым слоем резины. И я понимаю, что это такое. Откуда у подводных лодок черный матовый цвет.

Между ангарами мелькает вода, но вид на море закрывает стальная стена. Поднятый на сушу, корабль на стапелях похож на элеватор.

– Продали в Индию, – говорит девушка. – Чинят.

Эту девушку приставили из отдела внутренней охраны, и мы с Севой сразу прозвали ее «особистка». Улыбчивая, хамоватая. В штатском, сквозь которое все равно заметна военная выправка. Как прямо держит спину, быстрый поворот головы. Аккуратное движение – поправить под беретиком светлые волосы.

На все вопросы девушка молчит или многозначительно улыбается. Она рада, что завод произвел впечатление, хотя осадок после того, что я вижу, тяжелый. Все-таки завод строили заключенные. К тому же, глядя на корпуса с выбитыми окнами и кварталы брошенных бараков, на людей, трясущихся в вагонетках, трудно поверить, что здесь поднимают атомный флот страны, великую «кузькину мать». Однако это так, отчего на душе делается еще тоскливее.

В перерыве между съемками я отправился побродить вокруг храма с камерой – поснимать, что осталось. Но «особистка» следила за мной и теперь снисходительно, хотя и строго, отчитывает:

– С фотоаппаратом не положено.

Меня вдруг захлестывает ярость. Я поднимаю камеру и навожу на нее; слепя вспышкой, щелкаю. Она пытается придать лицу выражение, как в журналах, но потом опускает голову и краска заливает ее красивое, с тяжелыми скулами, лицо.

Никаких вопросов я не задавал ей – ни в стекляшке «Осьминог», где мы встретились после работы, ни в узкой гостиничной койке, куда мне без труда удалось затащить ее.

В какой-то момент, усевшись в ноги, она обняла мои ноги и прижала левую ступню к левой груди, а правую к правой. Заставила мять, приподнимать, сдавливать.

Провожая девушку ночью, я показал распечатку из Интернета. Это был снимок из космоса, где то, что они запрещали снимать нам, лежало как на ладони. В ответ она поправила светлые волосы и пожала плечами, обнажив в улыбке крупные ровные зубы.

Из полудремы меня выдергивает звонок.

Связь есть, номер местный.

– Ну где вы? – это Степанов из Устья. – Утром же на Остров! Прилив!

Я рассказываю, что случилось; куда выслать машину, чтобы забрать ребят и вытащить фургон; звоню, пока связь, в Двинск.

К телефону в больнице долго не подходят, наконец трубку снимают.

– Вас беспокоит съемочная группа... Мы хотим узнать, в каком состоянии наш коллега...

Сева подсказывает, как зовут осветителя.

Шелест бумаги, голоса.

– К сожалению...

– Что? – из-за двигателя не слышно. – Повторите!

– Умер – на – операционном – столе, – диктует ровный женский голос.

Сева забирает трубку, а я чувствую, как в одну секунду жизнь бесповоротно изменилась и в то же время осталась прежней. Сознывая это и что ничего не исправить, хочется орать и бить стекла. Но вместо этого тупо смотришь в окно – на лес и как за деревьями блестят заводы и лужи; на берег моря, утыканный серыми избами.

– Это после отлива, – женщина показывает на лужи на песке. – Что-то случилось?

– Все в порядке.

В тайге ночь, а на берегу светло. Вода отливает ртутным светом. Он мерцает до горизонта, где море упирается в тучи, сваленные, как старая мебель.

Фары выхватывают пустые остановки и мусорные контейнеры, темные зарешеченные балконы, ветки и провода. Ни вывесок, ни витрин в городе нет. Фонарь на перекрестке или окошко – вот и все освещение.

Пока выгружаем вещи, пока хозяин отгоняет собаку и гремит ключами – та, на «Москвиче», что спасла нас, исчезает. Благодарить некого.

Хозяин стоит против света, лица не видно.

– Степанов, – протягивает руку.

Ладонь теплая и мягкая, и от этого рукопожатия мне как-то спокойнее. Я даже улыбаюсь. При свете лампы Степанов – невысокий мужик лет пятидесяти, с круглым курносым лицом. Спортивная куртка, на голове кожаная кепка-шлем. Резиновые сапоги с отворотами в шотландскую клетку. Взгляд из-под белесых бровей короткий, ощупывающий. Он не музейщик, никакого музея в Устье нет. Он хозяйственник. Остров и монастырь в его ведении.

Наспех, уткнувшись в тарелки, ужинаем. Время от времени телефон трезвонит, и Сева о чем-то договаривается, устало и по-будничному разрешая последствия того страшного, что на нас обрушилось.

Небо на дворе обсыпано звездами. Они низкие и выпуклые, горят празднично: словно назло тому, что случилось.

Степанов возится с дверью. Расторопный, но несуетливый, он мне все больше нравится. Не бравитует и не заискивает перед столичными, как это бывает. Открытый, но и себе на уме.

«Сапоги вот с отворотами».

В избе все обустроено по-городскому: обои, старая советская «стенка», над трельяжем портрет Есенина с трубкой. Единственная примета времени – плазменная панель – по-деревенски покрыта салфеткой. А в коридоре весла.

– Дочкина.

Он показывает на комнату:

– Белье жена постелила, отдыхайте.

– А где ваши?

– За губками.

Он ловит мой непонимающий взгляд:

– За грибами, – задергивает шторы. – Катер в девять, завтрак в восемь. Разбудить?

– Я сам.

Комната школьницы – компьютер, круглый аквариум, стопка учебников. Календарь с какими-то накрашенными мальчиками. Чехлы для мобильных. Похожим барахлом набита комната моей дочери (она живет с матерью) – а ведь она считает себя столичной штучкой. И вот, пожалуйста, – копия за тысячи километров.

Хочется вообразить белокурую девочку. Как она засыпает под стальное тиканье будильника. Но вместо этого перед глазами лицо осветителя. Дужка очков, прихваченная изолентой. По-детски восторженный взгляд. Бутылка ликера, зачем-то купленная накануне отъезда.

«Зачем ему ликер на Острове?»

Не жалость, но злость – на себя и собственное бессилие перед тем неясным и непредсказуемым, что подстерегает каждого, – вот что я чувствую. На его бессмысленную жестокость.

«Почему этот мальчишка? А не вечно пьяный дядя Миша? Почему не жлоб-оператор, которому наплевать на все? Я или Сева?»

2. Остров на море

Устье возникло на месте древнего поселения в нескольких километрах от впадения Онеги в Белое море. Первое упоминание о нем относится к Уставу новгородских князей – в списке погостов, плативших десятину на содержание Святой Софии. Свидетельство о церкви Успения сохранилось и в поздних записях, составленных после разорения побережья норвежцами. Вот как говорится об Устье в сотной книге 1556 года: «В той же волостке на Усть-Онеги реки Погост, а в ней церковь Успене пречистые да другая теплая церковь Николая Чудотворец, а в них черной Кирилл да дьяк церковный Родька Ортемев, да пономарь старей Мисаило».

С середины XVII века волость и деревни по реке приписывают к монастырю на Острове. Этот монастырь, основанный по указу патриарха Никона, построили при государственной поддержке в невиданно короткие сроки. Для закрепления духовного авторитета на престол рукоположили архимандрита, а Святой Крест заказали в Иерусалиме. Он состоял из ковчежцев, где хранились мощи святых мучеников.

До выхода России на Балтику Устье – морские ворота в Европу. В XVI веке именно отсюда кормишки шли в Данию и Англию с дипломатическими посольствами, а в Устье приходили торговые корабли из Европы, чтобы идти на Москву и дальше на Каспий.

При Екатерине II поморское поселение Устье официально становится портовым городом. По генеральному плану он получает квартальную застройку с проспектами и улицами. Положение морского форпоста формально остается за Устьем до конца XIX века. Однако после выхода России на Балтику и Черное море город и порт приходят в упадок. Вот как описывает Устье петербургский этнограф Яков Ковельский, побывавший здесь с экспедицией в 1889 году: «Бедно и печально глядит этот некогда значительный город-порт в глаза всякому проезжему. Из опрятных домишек в нем всего два-три, но и те дома богачеев и лесной конторы. Остальные же бедностью своей могут соперничать только с Мезенью, виденной нами ранее. Из насчитанных мною двух площадей и 14 улиц немощены все и даже городской вынужден ездить по городу на дровнях, ведь телега вязнет в грязи по самые оси».

Не пощадило время и природу этих мест. Когда-то новгородцы шли сюда за мехом и строевым лесом. Теперь от лесов почти ничего не осталось. Поскольку безлесые берега не держат почву, ее смыкает дождями в реку, отчего вода в Онеге вот уже много лет имеет торфяной оттенок. Этот цвет настолько густ, что, впадая в море, река на многие километры окрашивает его, превращая из Белого в бурое.

– Алексей! Это кому?

В окне автобуса памятник – медный мужик, похожий на московского первопечатника.

– Так помор, – Степанов называет имя. – Наш, ходил на лодьях.

(Он так и говорит: «на лодьях».)

Кoffры громыхают, и техник лезет, чтобы переложить их. Остальные смотрят на Степанова.

– Нет, правда, – мне интересно. – Кто он?

– Двадцать лет на Груманте.

Степанов, балансируя, пересаживается поближе.

– Один!

– А ел он что? – перекрикивает мотор оператор.

В руке у него пакет с кефиром и лепешка.

– Так лысуна можно или рыбу... – Степанов растерян.

– Старовер, что ли? – я пытаюсь зацепиться. – Скит?

– Что?

Выдержав паузу, Степанов рассказывает историю: что жил в этих краях помор, лоцман и мореплаватель; водил купцов по рекам и царские посольства в Скандинавию; а потом вдруг исчез, сгинул. Только через двадцать лет рыбаки обнаружили на Груманте останки. Оказывается, все это время он жил на острове, один.

– Лисы-то его объели... – трогает лицо Степанов. – Сам цел, а череп голый.

Он повторяет про череп с каким-то сладострастием. Оператор давится, кашляет. Остальные напряженно молчат. Степанов продолжает.

За время съемок историй подобного рода мне доводилось слышать много. Наверное, когда-нибудь, когда передачу закроют, я напишу об этом книгу. Об опальных вельможах, строивших версальские дворцы в калмыцких степях – и там же спятивших; или о полководцах, отгородившихся от мира константинопольскими стенами и бравших эти стены приступом; о висячих садах и оранжереях под стеклянными куполами, вымышленных и выписанных от скуки помещиками в тверской глухомани; о железных дорогах, уводящих в никуда и заброшенных; о крепостных оркестрах и театральных труппах, тщательно собранных, а потом сгинувших где-то на Дальнем Востоке – все эти истории были не сказками, поскольку сохранились и стены дворцов, и руины фортеций, и чертежи оранжерей, и просеки с остатками шпал. Более того, все они имели между собой нечто общее. За каждой такой историей стояло фанатичное желание переменить участь. Любой ценой избежать того, что предназначено обычным ходом жизни. Все это были истории бегства, исчезновения, вызова или спора с судьбой. Поиска чего-то, что могло бы изменить жизнь. Единственный вопрос, ответа на который они не давали, был вопрос «зачем?». Какова природа этого поиска, одинакового у вельмож и простолюдинов? Генералов и купцов? У народа целой страны, который сколько раз уже снимался с насиженного места? Словно история нарочно спрятала эти ответы, скрыла.

Баракы, пятиэтажки, несколько серых панельных высоток. Огромные пыльные газоны. Мертвые светофоры. Продовольственные ларьки забраны решеткой. На тротуарах с колясками юные мамы. Пьют пиво, болтают с такими же малолетками, вчерашними одноклассниками.

– Михал Геннадьич! – мне хочется расшевелить режиссера. – Дядя Миша!

Но после вчерашнего тот угрюмо отмалчивается.

«Пазик» сворачивает в рощу и скатывается к пристани. Речная линза огромна и покрыта рябью, чей стальной цвет физически передает ощущение холода.

У причала катер.

– Наш?

Степанов, сощурившись, разглядывает линиялый триколор:

– Да, можно.

Когда мы затаскиваем аппаратуру, доска прогибается и скрипит.

– По одному!

Это кричит из рубки капитан.

Они со Степановым громко шепчутся:

– Ты говорил, их будет восемь.

Капитан, молодой парень, вопросительно смотрит на меня. Я показываю: негрятят осталось шестеро.

– Водитель с машиной, не едет.

А про осветителя они знают.

Спустив кофры в трюм, наши вылезают на палубу. Витя и оператор, пока есть связь, названивают подружкам. Техник щелкает камерой: река, катер, как переносят краном шпалы.

– Старые, для дачи, – комментирует Степанов шпалы. – Распродажа.

Канат летит на борт, из-под кормы выстреливает струя. На фоне белой пены хорошо видно торфяной цвет воды. Облака приземисты и, отражаясь в воде, бесконечно увеличивают пространство.

Когда выходим в море, сырой ветер обжигает лицо; пора в трюм. Внизу уже устроился Витя, а скоро спускаются остальные. Ни вчера, ни сегодня никто не спрашивает, что стало с осветителем. Как он там. А мне сказать нечего, нам еще работать. И мы просто сидим, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть.

– Если холодно, можно в рубку, – в люке лицо Степанова.

– А сколько плыть? – Сева.

– Час.

Звуковик и Сева, балансируя, идут к лестнице. Следом встает оператор, но Степанов предупреждает:

– Больше двух не влезет.

Сева уступает.

Когда я вылезаю на палубу, берегов не видно; волны лупят в борт и взрываются фонтанами; небо и море, облака – серая каша; грохочущий ледяной океан.

Сева в рубке, дремлет. Опустив на грудь двойной подбородок, он похож на пингвина. В рубке пахнет мазутом и дешевыми папиросами. Сквозь забрызганное стекло на горизонте проступает темная полоска суши.

– Остров?

Капитан не слышит.

– Давайте сбавим! – ору ему.

Сева просыпается:

– Что вы придумали?

– Немного можем, – отвечает капитан.

Глаза у него блестят, улыбка. Он расстегивает на груди ватник и дергает костыль переключателя. Теперь мотор стучит отрывисто, а катер переваливается.

– Меньше не могу, перевернемся.

– Нормально.

Я пробираюсь к трюму.

– Дядя Миша! Идея!

Из люка высовывается голова.

Показываю на панораму с Островом.

– Понял, – он ныряет обратно. – Работаем!

Наши по одному вылезают. Техник кое-как пристраивает штатив, Витя напяливает наушники. Оператор кричит из-за камеры, мотает головой. Лица у всех злые, мокрые, сосредоточенные. Наверное, в такие минуты они ненавидят меня. Но нам нужен этот кадр, и снять его можно только сейчас.

Сева пытается расправить сценарий:

– Какой эпизод?

– Камера мокнет! – Оператор.

Отмахиваюсь: «К черту сценарий».

Дядя Миша перебирается ко мне:

– Отсюда и на нос, финальная точка.

– Летящей походкой?
Все смотрят на Витю.
– Брак по звуку сто процентов, – показывает он.
Вытирает лицо платком.
– Вы бы еще в забой спустились!
Из рубки за нами наблюдают Степанов и капитан.
Судя по бледным, приплюснутым к стеклу лицам, они тоже нервничают.
Остров все ближе. Уже различимы надписи на валунах; причал с флагштоком; какие-то серые избенки.
– Ладно! – Витя уступает.
Я пробираюсь на точку:
– Готов.
– Камера?
– Мотор идет.
– Начали.

3. Арбузная корка

Я начал эту книгу, поскольку все, что было вычеркнуто из памяти или осталось в прошлом, неожиданно обрело голос. Не образы или чувства, не слова, но звук этого голоса, вот что я слышал. Он звучал все настойчивее и напоминал о вещах, ушедших из моей жизни. Наполнял мое прошлое смыслом. В чем он заключался? Этого я не знал. Не обрывки мелодий или фраз, не забытые картины, которые приятно или тоскливо перебирать в памяти, а нечто, требующее ответа, – вот что это было. Течение времени превращало прошлое в незавершенную историю. И, чтобы разобраться в ней, я начал записывать то, что записываю.

Пока мы колесили по стране, снимая то, что осталось от ее истории, во мне проснулась моя история. Я понял, что прошлое никуда не исчезло. Старый дневник, случайно попавший ко мне на съемках, только подтверждал это – напомнив о человеке, связь с которым казалась мне давно потерянной.

Часы, проведенные в кабине фургона – когда дорога разматывает мокрую ленту, а вокруг тянутся одинаково унылые пейзажи, – или время в гостиничных номерах, когда слышно, как за стеной любят друг друга люди или как скрипит на улице снег под ногами пешехода, – я с удивлением сознавал значение этого человека в моей жизни. То, как отчетливо моя история от него зависела.

Обиднее всего было то, что этот человек даже не догадывался, как глубоко проник в мою жизнь. Ни женитьба, ни рождение дочери не помогли избавиться от него. Наоборот, именно семейная жизнь открыла мне глаза, какая это ошибка. Ведь жить с одним человеком, думая о другом, невозможно, это каторга. И я развелся.

Приехав на съемки в тот или иной город той или иной губернии, я ловил себя на том, что ищу знакомое имя в газетах или на экране. На афишах театров. В клубах. Блуждая по улицам Новгорода и Онеги, Анапы и Иркутска, Бологого и Старой Руссы, Северодвинска, Орла и Тобольска, Кемерово и Барнаула, просиживая вечера в безликих кафе и забегаловках, где всегда звучит одна и та же грубая музыка, – я всматривался в чужие лица. Даже в программу я пришел в надежде на чудо. На то, что, увидев меня на экране, человек даст о себе знать.

Но программы еженедельно выходили в эфир, а писем никто не присылал. Никто не откликнулся. Почему ты вообще решил, что тебя не забыли, спрашивал я? Не выбросили из памяти, как выброшены и забыты тобой сотни людей? Наверное, присвоив образ человека, мы наивно полагаем, что человек не сможет не ответить. Долгое время так считал и я, и ошибался.

Впервые он увидел Аню в эпизодической роли. Этот спектакль стал его любимым, но только из-за пьесы. Она же, наоборот, раздражала его. Притягивая к небольшой роли слишком много внимания, эта актриса мешала выстраивать спектакль – так он думал. Лишний акцент в безусловно собранной схеме, вот кем была Аня. Но прошло полгода, и он уже ловил себя, что весь спектакль ждет только ее выхода. Когда в белом балахоне она появится на помосте, перебирая венки из лилий. Обведет зал невидящим взглядом. Криво усмехнется горящими губами. Исчезнет за кулисой, пошатнувшись, как от морской качки.

Он чувствовал эту качку. Он плыл на корабле, которым она управляла. Он был внутри игры, где театральная условность выглядела реальной. Это мгновение перехода он хорошо запомнил. От неожиданности он даже испугался, настолько тонкой оказалась грань между игрой и настоящим безумием. И обрадовался, потому что, перейдя эту грань, он очутился совсем рядом с Аней.

Когда в финале ее выносил Актер, он верил, что Аня мертва, настолько тяжело и безжизненно висело на руках ее тело.

Ей не дарили цветы, на поклонах она и так стояла со своими лилиями. Не дожидаясь конца, Аня исчезала со сцены первой. Она сама назначала себе эту роль – непризнанной, но исключительной особы. Хотя что оставалось в театре заштатной актрисе?

Они познакомились из-за арбуза. Он купил его по дороге с дежурства, откуда вырвался на спектакль, на последнее действие. Купил по дороге арбуз, а потом просто влез на аплодисментах на сцену. Влез и вручил.

Арбуз! Благодаря арбузу его наградили настоящим взглядом. Он был снисходительным и пристальным. А те невидящие, что Аня бросала на него в коридорах театра, настоящими не считались.

Зал смеялся и хлопал, а она стояла, обхватив арбуз, как обхватывают беременный живот. По-детски беспомощно, счастливо улыбалась. Эта улыбка врезалась в память, хотя тогда он не думал, какая это будет редкость, такая улыбка, в их жизни.

Серо-голубые глаза, прозрачный взгляд. Он бы назвал его холодным, но тревога? Эта скрытая тревога проникала в того, на кого Аня смотрела. Тогда у человека, говорившего с ней, возникало ощущение неловкости, как будто она куда-то опаздывает, а он ее задерживает.

Встретить якобы случайно после спектакля, в переулке у театра, предложить донести арбуз – таков был его расчет. Но случился великолепный провал.

– Подарили, – спокойно сказала она. – Не оставлять же.

В пакете поблескивала бутылка с иностранной этикеткой. Аня смотрела то на нее, то на него – сквозь короткие густые щетки ресниц. Вопросительно и насмешливо, словно испытывая.

У него в кармане лежали ключи от усадьбы. Какие шутки (так он говорил ей) – дворец, самый настоящий. Вон, Толстой даже изобразил его в романе. Теперь там советские писатели, а я ночной сторож. Сегодня как раз моя смена.

– Позвони, что удержишься, – он взял Аню под руку. – Покажу тебе.

Его фантазия давно сопровождала Аню любовниками в тихих московских квартирах. Но она отвела ладонь с двушкой:

– Не надо.

Лампы фонарей раскачивались на ветру, швыряя тени с одной стены на другую. Машин, кроме последних троллейбусов, не было. Он и она переходили бульвар на красный. Сунув в окошко розовые бумажки пореформенных денег, он брал в палатке экзотические шоколадки. Минеральную воду и сигареты. Шутил с продавщицей.

Шли дальше. Уличные запахи и звуки, блеск пуговиц на Анином плаще, замок на сумке – все это ему запомнилось, врезалось в память. Но разговор – о чем они говорили? Что она спрашивала? Только за бульваром он опомнился – арбуз Аня держала под мышкой. Но когда переключивались, он выскользнул. От удара куски разлетелись, а нутро вывалилось. По асфальту медленно растекалась черная лужа.

Не сговариваясь, они перешли на другую сторону. Он гремел замком, открывал ворота. Пробирались внутрь и накрывали на рояле стол.

– Римская копия греческого оригинала, – звук его голоса катился под потолком. – Девушке около двух тысяч.

По легенде эту скульптуру Афродиты владелец усадьбы вывез из свадебного путешествия по Италии. Просто купил на раскопках в Риме и отправил в Москву для парадной лестницы.

Посеревшая от пыли и захватанная, с отбитыми пальцами, последние полвека скульптура ублажала советских писателей. Со скуки он любил подолгу смотреть на нее. В такие

минуты ему казалось, он чувствует энергию того, кто ее создал. Что эта энергия передается через время.

Бутылка оказалась «Метаксой», приторной и теплой. Когда вдруг засипели и ударили часы, Аня выронила «писательскую» чашку. На полировке образовалось белое пятно.

Он брал ее за руку. Влажные и холодные, ее пальцы подрагивали.

– Это после спектакля, – она поднимала глаза.

В полумраке лицо казалось юношеским, бесполом. Не отпуская ладони, другой рукой он обнимал ее. Вдыхал табачный дым и запах кулис, которыми пахли волосы. Аромат духов и коньяка, и другой, едва заметный, напоминавший гранат. Расстегивая крючки и пуговицы, прижимаясь губами к горячей коже, он успевал поймать себя на мысли, что этот «темный» запах совсем с ней не сочетается.

...В дверь под лестницей барабанили. Он матерился, а Аня беззвучно смеялась и натягивала свитер. Смотрела черными от расширенных зрачков глазами.

– Сволочи, – застегивался он. – Писатели.

Из подвальной двери накатывала волна кухонных запахов. Стукаясь в косяки, из ресторанного перехода вваливался литератор; проверял пуговицы на ширинке; искал безбровыми глазами кепку на вешалке; икал.

На лестнице литератор желал облапать скульптуру, но терял равновесие. Он привычно подхватывал и выводил писателя на улицу. Заперев ворота, несколько минут стоял с ключами и не двигался. Слушал, как в ночной тишине с глухим стуком падают яблоки (вокруг памятника росли яблони). Как где-то за чердаками гудит невидимое Садовое. Ощущение рубежа, вот что он почувствовал. Во дворе старой усадьбы, в двух шагах от незнакомой женщины, которая вот-вот станет его, – жизнь менялась, одно время переходило в другое.

Об Анином прошлым я не расспрашивал. Да и разница в три года в нашем возрасте имела значение, чтобы напрямую допытываться, кто ты.

По обмолвкам я знал, что она приехала поступать из маленького валдайского городка. Что поступила в ГИТИС только со второго раза, а год отработала в театральном журнале – сначала машинисткой, а потом, когда все обвалилось, редактором. Снимала углы или жила у подруг. Потом познакомилась с австрийцем – тот гастролировал с пластическим театром. Провела одну зиму в Вене, даже собиралась замуж, но не вышла, передумала.

По ее словам, в Австрии она надеялась отыскать следы двоюродной бабки. Вокруг этой мифической родственницы разговоры крутились довольно часто. Еще девушкой эту родственницу вывезли из блокадного Ленинграда на Кавказ, а оттуда угнали в Германию немцы. После войны она осталась в Вене, вышла замуж. Но оккупационные войска, советские, все равно ее нашли и взяли. Она отсидела как изменница Родины, а потом следы затерялись. Аня думала, что после реабилитации бабушке удалось вернуться к мужу. Но под каким именем? Когда? И что с ней потом стало?

В самой Вене ничего не нашлось, но информация могла быть в архивах Лубянки, которые в то время открывались. И она вернулась в Москву.

Наверное, связь с австрийцем распалась именно из-за того, что в Вене Аня ничего не обнаружила. С тех пор этот австриец числился единственным «официальным» любовником. Аня всегда говорила о нем с уважением, как говорят о старшем брате. Вернувшись, она жила у знакомых в Томилино. А через год все-таки поступила и отучилась. Попала в известную труппу – тогда репертуарные театры переживали подъем. Даже сыграла в молодежной постановке «Амаретто», гремевшей в городе.

Постоянных поклонников, мерещившихся мне повсюду, она не завела. Или не хотела говорить. Хотя иногда, гуляя по центру, рассказывала, кто и как живет в доме, мимо которого

мы проходим. Наверное, с этим домом у Ани было что-то связано. Но сколько таких домов в жизни каждого? Как часто мы вспоминаем о них?

А про мои адреса она не спрашивала.

Когда мы познакомились, Аня жила в комнате на улице Гастелло. Хозяйка-старуха была очередной дальней родственницей с Валдая, теткой отца или что-то в этом роде, и запрещала водить «хахалей». Правда, сослепу она мало что видела. Поэтому когда Аня приводила меня, я крался по коридору без обуви, а она громко отвлекала старуху разговорами в кухне.

Окно в комнате выходило на крышу гастронома. Пока свет у хозяйки не гас, мы сидели на подоконнике и смотрели, как за деревьями ползут электрички. Потом Аня спускалась на крышу и бесшумно пробиралась вдоль окон.

Что было интересного в обычных московских кухнях, где между шторами изредка мелькнет голубая майка или мерцают перед экранами неподвижные лица? Что хотела увидеть актриса среди людей, погруженных в машинальную жизнь? При виде которой весь мир тоже представлялся машинальным?

Она оправдывалась: ей надо подсматривать для театра. Но что-то мешало в это поверить. Не актерство, а желание убежать от себя, сменить жизнь – вот о чем, наверное, мечтала моя Аня. Но тогда я об этом не догадывался.

Походы на крышу чередовались со свиданиями в гримерке – после спектакля, на кожаном диване, прилипающем к голому телу. Но чаще мы встречались у меня. В одно окно и узкая, как поставленный на бок спичечный коробок, эта комната смотрела во двор Старого Университета, где я учился. Мой приятель получил ее как дворник, но сам не жил, а уступил мне. Дом вскоре продали на реконструкцию, но что-то с новой стройкой не сложилось, и он стоял бесхозным, отключенным от горячей воды. Заселенным такими же, как мы, мертвыми душами.

В каморке все время звучал джаз – Аня принесла из театра пластинки и проигрыватель. Кит Джаррет, Чарли Мингус, Эрик Долфи, Майлз Дэвис: она могла сутками не вылезать из моей дворницкой, валяясь на полу с журналами и вечной сигаретой под их тихое треньканье – как героиня из романа Кортасара.

Мы спали на матрасе поверх короткого топчана из досок. Чтобы удлинить этот топчан, я подставил в ноги чемодан с барабанами. Мой приятель-сокурсник оставил этот чемодан на хранение, когда его рок-группу вытурили из соседнего Дома культуры (во время репетиции они проломили рояль). Так обитый дерматином сундук попал ко мне в дворницкую. Я не открывал его, но когда мы были вместе, когда я любил Аню, в сундуке что-то тренькало и позвякивало. Моя память сохранила каждый звук этой «музыки».

Снег, падая на сухой асфальт, наполнял проспект шуршанием. Редкие машины ехали медленно, словно боялись оставлять следы. В одной из ночных «амбразур», торговавших спиртным после полуночи, он и Аня брали вино – в очереди таких же полуночных теней, жаждущих приключений.

С бутылкой еще горячего, с конвейера, вина они спускались в арбатские переулки. Аня требовала открыть. Он плавил спичкой пластиковую пробку. Неумело запрокинув голову, она делала несколько глотков и возвращала бутылку.

Ночные переулки были похожи на коридоры в коммуналке. Как-то ночью в одном из таких переулков они наткнулись на съемки фильма. Кино из прошлой жизни: подъезд, пролетка, полосатый столб. Физиономии ряженных артистов, знакомых по фильмам.

Несколько секунд Аня следила за тем, как известный актер, кутаясь в шинель, вылезает из пролетки. Как они повторяют дубль. А потом развернулась, ушла.

Он догнал ее, взял за руку. Обнял.

– Пойдем, – уговаривал он. – Это рядом.

Тащил во двор дома.

Этот двор, обычно запертый, для съемок открыли.

– Италия, – он проследил за ее взглядом. – Видишь?

Аркада опоясывала двор, как южное патио.

– Ты был в Италии?

Это была насмешка, ведь ни о какой Италии тогда даже не мечтали. Это была обида и злость – так, словно он виноват, что других снимают, а ее нет. И он понял и пожалел Аню. Сделал вид, что насмешки не заметил.

В подвале он чиркнул спичкой. Огонек высветил кирпичные своды, а когда он зажег еще одну, из темноты выступили огромные бочки. Деревянные бочки стояли одна за другой, как вагоны. А сам подвал напоминал депо.

В прошлой жизни здесь хранили вино.

Пока он гремел коробком, Аня исчезала.

– Попробуй. – Голос в темноте звучал чужим.

Он поднес пробку к лицу. Толщиной с палец, деревяшка пахла уксусом. Эта пробка хранилась у него долго после того, как они расстались. Он не забывал перекладывать ее из одной коробки в другую, перетаскивая вместе с одеждой, книгами и машинкой. Надо, думал он, чтобы пробка обязательно дожидка до времени, когда они с Аней встретятся. В том, что это случится, он не сомневался.

4. Танки на улицах города

Из форточки в комнату ворвался пряный осенний воздух. Аня подняла звякнувший об асфальт ключ, открыла подъезд.

– Не знаю, отменили, – легла на топчан. – Спектакля не будет.

Она играла в утренней сказке.

Я убрал пишущую машинку, включил чайник в розетку. Нашел чистый стакан и достал вчерашние коржики.

Вытянув руки по швам и выставив подбородок, она лежала, как покойница.

– Ты читал эти книги? – спросила, не поворачивая головы.

– Эти?

Вдоль стены стояли стопки книг, о которых мне приходилось писать, чтобы заработать.

– Ты же знаешь.

Сколько раз я показывал ей заметки.

– Это новые?

– Да.

Аня вяло пролистала и отложила. С ней что-то происходило, это было видно, – предчувствие еще не принятого, но неизбежного решения.

– В «Гриль»? – предложил я.

– Ты сегодня богач? – она приподнялась на локте. – Танки, – легла обратно.

– Что?

– На улице, надо послушать радио, – она следила, как я одеваюсь. – Не ходи, там никто не знает, что происходит!

Танк был один и стоял прямо во дворе Старого Университета. По газону от гусениц тянулся его рваный следа, на тротуаре валялась вывороченная решетка. Еще одна свисала с брони танка.

Во дворе сидели и полулежали на жухлой траве военные и гражданские. Все они были вооружены. Еще несколько человек сгрудилось у железной бочки, стоявшей у памятника.

В бочке догорала факультетская доска объявлений. Они грелись у огня и разливали водку. Один совсем молоденький танкист нахлобучил гражданскому свой шлем. Они ржали, так смешно торчала из-под шлема шапка-петушок.

– Ну что? – Аня сидела на подоконнике, обняв колени. – Стреляют?

Обычно многолюдная, улица Герцена пустовала. Ни машин, ни людей. «Гриль», где мы собирались поужинать, закрыт. В воздухе запах листьев, прихваченных первыми заморозками, мазута и почему-то рыбы.

Эту рыбную вонь я запомнил особенно. Она струилась из магазина сквозь разбитую витрину. Через окно виднелись аквариумы рыбного отдела; куски замороженной рыбы валялись даже на асфальте; они были похожи на крупную щепу.

– Вот ужин, – Аня попыталась шутить, но в голосе звучал испуг.

В каком-то одновременно поразившем нас оцепенении мы разглядывали разбитую витрину и написанные от руки ценники. Белый, в разводах, фартук, забытый на крючке и теперь шевелившийся от ветра.

В этот момент и раздался щелчок – резкий, хлесткий. Словно по сигналу этого щелчка, на улицу выбежал человек. Он был в джинсовой куртке на цигейке и с автоматом, ремень которого скользил по асфальту, так низко человек пригибался.

Эта цигейка и ремень мне тоже запомнились.

От следующего щелчка он вскинул подбородок. На полусогнутых, ставших ватными, ногах – цепляя асфальт ботинками – сделал несколько шагов. Упал, глухо стукнувшись лицом.

Мой взгляд превратился в объектив камеры. Объектив зафиксировал еще одного человека. Этот другой (в пиджаке на свитер и джинсах) подбежал к убитому и снял с него автомат. Закинул за спину. Отскочил за угол.

Окно над ним тут же разбилось, посыпались осколки и штукатурка.

– Сука, – «пиджак» вскинул автомат.

Я прижал Аню к стене, просто вдавил.

Снова щелкнуло и посыпалось.

Шаг за шагом, словно над пропастью, мы подбирались по переулку к спасительной двери подъезда. Мой взгляд замечал ненужные вещи: рыжий горшок и марлю на форточке в окошке; как безмятежно подрагивает посольский флаг; звезды на воротах пожарной части.

Дверь подалась медленно, как во сне. Мы провалились в темноту. Во внезапной тишине подъезда сердце стучало так оглушительно, что я не слышал, что говорю Ане. Как успокаиваю ее.

Аня порезалась, царапина кровоточила. Она слизнула красные капли, а я удивился, как будто Анина кровь должна быть синей или зеленой.

– Это контора, – она прислонилась к стене. – Здесь никого нет.

Но она ошиблась.

В центре зала с низким потолком и окнами до пола был накрыт длинный стол, составленный из обычных письменных столов. Люди, сидевшие на стульях, креслах и тумбочках, служивших стульями, громко спорили. Каждый говорил, обращаясь ко всем сразу, отчего никто никого не слушал и не слышал. Только взрывы женского хохота подсказывали, что это от возбуждения люди не могут сдержать себя и говорят разом.

Стоило нам войти в зал, как голоса сразу стихли. Только в дальнем углу кто-то сидел у телефона и разговаривал.

– В редакции – где? – доносился его буднично-усталый голос. – Потому что стреляют, почему.

Человек переложил трубку из одной руки в другую. Поправил очки:

– Ты телевизор вообще смотришь? Что? «Шестьсот секунд»?

От стола к нам подскочил долговязый парень в несвежем сером костюме и протянул вату, чтобы Аня могла прижечь рану. В другой руке у него была водка.

Аня прижала вату с водкой к царапине. Под сочувственными взглядами незнакомых людей мы выпили то, что уже успел налить парень.

– Виталик! – окликнула человека у телефона немолодая яркая блондинка. – Виталий Вадимыч, вы с нами?

«Виталик» повесил трубку и вернулся за стол.

Откинувшись на спинку стула, я смотрел на людей за столом, но перед глазами была цигейка в брызгах крови и ремень автомата.

Наливал, чтобы прогнать наваждение.

– Закусывайте, пожалуйста, – пододвигала шпроты пожилая дама.

Задумчиво, кутаясь в платок, приговаривала:

– Такие дела.

Вскоре про нас забыли, а шум и споры разгорелись по новой. Один, сухой старик-мальчик с трубкой, резко, но тихо отвечал крупной даме. То и дело звучало «подонок», «эта сво-

лочь», «давно пора было». Другой, похожий на бригадира из советских фильмов, говорил, что надо всех разогнать, а потом всех переизбрать или устроить референдум.

– А Хасбулатова под суд, – говорил он.

– И Ельцина, Ельцина!

Это поддакивали двое молодых людей – кучерявый очкарик в вязаной жилетке и высокий брюнет с восточными чертами лица. Они шутили надо всем, о чем говорили «старшие».

Очкарика звали Гек, а имя второго я не расслышал и решил про себя называть Казахом. Постепенно весь этот странный народец передвинулся на тот конец стола, где сидел Виталик. Незаметно перебралась к нему и Аня. Через пять минут она с блеском в глазах рассказывала и даже изображала, что с нами случилось на улице. Все, кроме одного, взгляды обратились к ней. Этот единственный взгляд я ловил на себе. Та самая немолодая блондинка с лукавым, по-лисьи вострым лицом – это она посматривала в мою сторону.

Когда наши взгляды встретились, она улыбнулась и прижалась к Виталику. В ответ он по-хозяйски ее приобнял. Но даже прижавшись к нему, она продолжала посматривать – то на Аню, то на Гека, то на меня. Как будто уравнение решала.

Из разговоров я понял, что мы попали в редакцию газеты. Что редакция находится в актовом зале крупного издательства, где есть сцена и даже рояль, и что издательство по бедности сдает зал газете. Все эти люди, когда начался штурм Верховного Совета, пришли, как обычно, на работу. Да и сейчас никто ничего не знал, кроме того, что показывали по CNN и говорили на радио, то есть что Белый дом расстрелян из танков, а «красные» разбежались по городу, где их добивает «доблестная ельцинская гвардия». И что выходить на улицу опасно.

– Будем ночевать! – очнувшись, восторженно кричала блондинка. – Виталик! Виталий Вадимыч! Нужен ваш теннисный стол.

На сцене за занавеской стоял теннисный стол.

– Занят, – отшучивался Виталик. – Так? Вот.

Это была его присказка, причем первое слово он произносил коротко, а «вот» специально растягивал.

Их главным был явно этот Виталик, к которому без конца цеплялась блондинка. Обаятельный мужик с хитрой, хотя и добродушной физиономией, он выглядел на сорок с лишним, носил старый пиджак, обсыпанный перхотью и пеплом, а под пиджаком теплую жилетку.

Жилетка обнаружилась, когда он скинул пиджак и запел под рояль Вертинского. Пел он неплохо, правда, с каким-то хохлацким ражем. Через минуту у рояля очутилась моя Аня. Она напела мелодию из спектакля, Виталик быстро подобрал аккорды. Я снова перехватил тревожный взгляд блондинки. Ее звали Татьяна.

За окнами совсем стемнело. Из-за звуков рояля и пения, из-за шумных споров, которые не унимались, выстрелов на улице почти не было слышно. Только изредка ночное небо пересекали очереди трассирующих пуль.

Очереди напоминали светящийся пунктир. Потом кончилась водка. Пустые бутылки держал тот самый парень в несвежем костюме.

– Схожу! – Я услышал собственный голос. – Только скинемся.

– Так нельзя, давайте жребий, – вступалась блондинка. – Опасно.

На сцене продолжали играть и петь на два голоса.

– У меня ларечник знакомый, – врал. – Нет, правда.

Уговаривать долго не пришлось, мало кому хотелось выходить под пули. Ко мне потянулись с деньгами, и скоро у меня набрался довольно большой ворох голубых и розовых «фантиков».

Тем временем Виталик закончил с музыкой и, поцеловав Ане руку, помог сойти со сцены.

– Что тут у вас? – подышал на стекла очков, выпятив серые губы курильщика.

Ему объяснили, что парень идет за водкой. Он протер очки, щедро добавил и попросил минеральной.

По Калининскому проспекту медленно двигался бронетранспортер. Поворачивая задранную пушку, он выпускал очереди тассирующих пуль. По красивой дуге они плавно пересекали небо и растворялись в воздухе.

На проспекте и тротуарах толпились и слонялись сотни людей, как будто среди ночи в городе объявили праздничное гулянье. Люди несли флаги, многие были при оружии, которое, особенно у штатских, выглядело по-обыденному, словно это портфель или авоська.

Флаги были всех мастей – красный советский, царский черно-желто-белый, несколько триколоров и даже один андреевский. Вряд ли случайный прохожий смог бы определить по этим флагам, за кем победа. При звуках очередей многие вскидывали автоматы, щеголяя друг перед другом. В отсветах фонарей их лица искажала ярость. Видно, никто из них до конца не понимал, что делает. Зачем и над кем эта победа.

Витрины на проспекте побили, а магазины разграбили. Только один киоск и уцелел. Грузовики с водкой разворачивались у «Художественного» и подкатывали к этому киоску прямо через газон, давя кусты и клумбы. Разгружались с борта. Очереди никто не соблюдал, просто из рук в руки передавали деньги. Тогда от киоска поднимался ящик с водкой. Этот ящик плыл по рукам, как гробик. Когда он доходил до крайних, внутри ничего не оставалось. Но толпа радостно ревела, поскольку стоило первому ящику опустеть, как над головами плыл второй, а за ним третий.

Толкаясь в очереди, я думал о себе в третьем лице, настолько невероятным было то, что меня окружало. Я, то есть «он», не боялся ни людей с оружием, ни шальных пуль, ни смерти, которую видел своими глазами. События этой ночи «ему» вообще казались происходящими в другом измерении. Не там, где находились он и Аня, его каморка, Университет и театр, и даже спасительная редакция. В это, другое, измерение он попал по стечению обстоятельств. То, что он видел здесь, он видел как на экране. Станным было лишь то, что события на экране вдруг перешли границу реальной жизни. Как было к этому относиться? Принять? Остаться зрителем? И можно ли быть зрителем в такой ситуации? Все это были вопросы, возникавшие сами собой и требовавшие ответа. Но ответа не было ни у него, ни у тех, кто окружал его. Только время, само течение жизни, могло все расставить по своим полкам.

Получив бутылки, я выбрался из толпы и бросился по переулку. Однако там, где полчаса назад не было ни души, теперь стоял военный грузовик, а под его прикрытием и милицмейская машина.

Несколько солдат в оцеплении переминались вдоль решетки особняка. Под решеткой, где стояла милицмейская машина, лежал навзничь труп. Я узнал малого в пиджаке и джинсах, стрелявшего по чердакам у рыбного магазина. Было страшно и стыдно видеть неподвижным того, кто еще недавно бежал и стрелял. А милиционер, сидевший на корточках, продолжал равнодушно обыскивать карманы убитого. Что-то из найденного он прятал к себе, а что-то выбрасывал через решетку в кусты.

Мне сказали, что на чердаке работает снайпер. Я пытался объяснить им, чтобы меня пропустили, – но никто не обращал внимания. Закрыто, и все тут. Существовал еще один путь: через арку заброшенной школы и двор училища. Я бросился туда. Но оцепление выставили грамотно, и в арке тоже маячили фигуры солдат.

В редакции, куда я попал под утро, был погром, самый настоящий. Мебель, еще недавно аккуратно сдвинутая, валялась перевернутой или сломанной. Ящики письменных столов кто-то выворотил, а содержимое вывалил и рассыпал по полу. Осколки бутылок, пачки фотографий, верстка газетных полос и куски печенья – все лежало вперемешку и хрустело под ногами. Только чудом не опрокинутая пишущая машинка возвышалась над столом.

Из каретки у нее свисал наполовину отпечатанный лист и качался на сквозняке. Так же мирно блестел на сцене открытый рояль, на крышке которого все так же стояла недопитая стопка. Все остальное было перевернуто вверх дном.

Я бросился к телефону, но провода были с мясом выдраны. Обернулся на шорох: в дверях стояла Татьяна.

– Ключ... – сказала она тихо, словно сама себе.

Пошла по залу, осторожно переступая через осколки. Ее голос звучал буднично и ничего, кроме многочасовой усталости, не выражал. Загипнотизированный этим безразличным голосом, я тоже принялся за поиски, как будто знал, о каком ключе речь.

Потом Татьяна вынимала и перекладывала в сумку бумаги из сейфа. Я помог ей застегнуть молнию. Мы допили водку. Захмелев, на мои вопросы она только отмахивалась.

– Обыскали и распустили, – прикрыла ладонью зевок. – Все в порядке.

В шестом часу, когда оцепление сняли, мы вышли. Под ногами хрустели схваченные морозцем лужи. Из таксофона я позвонил на Гастелло, но трубку не взяли. А больше Ане звонить было некуда.

Пока я накручивал диск, Татьяна терпеливо ждала у перехода. Предлагала ехать к ней.

– От меня дозвонишься.

Мы поймали машину. По дороге, допив остатки, целовались. А днем я просыпался в ее постели. За окном стоял яркий осенний полдень, подушка пахла увядшими цветами. Моя одежда, аккуратно сложенная, ждала в кресле, а записка – на телефонном столике.

Я машинально набрал номер. Занято. Глядя на дощечку с Кижами, набрал снова. Снова занято. Пока не сообразил, что набираю квартиру, где находился.

5. О чем говорили ночью

На песчаном пляже огромные валуны. Серые, выбитые в камне надписи. «Онуфриев Н.», «А.Босых», «Наташа и Вера Лебядкины из Дубровичей». Отметились даже «Работники ленинградского Пищетреста № 45 – 5/VII-1940».

Когда я возвращаюсь, наши устроились и курят на крыльце барака. Камера в траве похожа на жука-скарабея. Вокруг вертится собачонка, ее хвост смешно болтается. Тишина, пасмурно.

– У меня печь погуще, – зовет Степанов.

Я бросаю вещи на койку у окна. За печью еще закуток, отделенный занавеской. Топчан, матрас, одеяла. К фанере приколоты фотографии белокурой девочки. Над ней жестяная иконка Николая Угодника, проржавленная. На этажерке журналы «Охотник и рыболов» за 1979 год. Еще газеты и тетрадки, сложенные в стопку.

Серая тюлька легко скользит по леске. Я присвистываю – за окном, где два часа назад плескалась вода, голый песок и камни.

Отлив, по-местному – урон.

Беспомощно выставив рыжее днище, на боку лежит наш катер. Вдалеке по лужам бегают не то собака, не то кошка.

– Смотрите, – показываю.

Дрова падают у печки, Степанов отряхивается.

– Так лисы, – он выглядывает. – Рыбы в лужах уйма. Печку сами?

Я качаю головой: «Не умею».

Он берет с полки журнал, рвет и комкает страницы. Терпеливо, как маленькому, показывает, как заложить дрова и сунуть бумагу. Где заслонка.

– Только поглубже, – показывает. – Натощкает.

В смысле – чадить будет.

«Охотник и рыболов» отсырел и горит плохо. Вдыхая сизый дым, я чувствую себя так, словно все это уже случилось. Изба, печка. И как все не занимаются дрова. Или случится.

– Ужин через час, – круглое лицо Степанова в окне.

Я улыбаюсь в ответ:

– Хорошо.

На столе вареная картошка, тушенка, бутылки и медовый торт от Вити, который не может без сладкого.

Степанов со всеми чокается и опрокидывает рюмку. Несколько секунд сидит, выпятив нижнюю губу, и смотрит в одну точку. Потом убирает рюмку и принимается за еду.

Картошка, а потом и чай одинаково горчат.

– Морская в грунтовую, – объясняет Степанов. – Просачивается.

После ужина он сметает в миску объедки (говорит: «ошурки»). Собачонка, прикончив еду, гоняет пустую миску по полу. Миска гроыхает, и Степанов ударом сапога загоняет ее под лавку. Собачонка скулит.

Постепенно разговор все громче. Этими байками – о том, что с кем на съемках приключилось, – я сыт по горло. Надоело.

– А как они говорят «киоск»? – Дядя Миша вспоминает Владивосток, где мы снимали Крепость.

– Алексей – «киосок»!

Степанов пробует слово на язык: «киосок», «киосок».

– Или «повешался», – говорит техник.

В смысле «повесился».

– Это что, – оператор. – У нас на Валааме...

Он тянется за бутылкой:

– Помнишь, Вить?

Витя жует тортик.

– Сидим в скиту и вдруг – монах...

Все улыбаются и смотрят на Степанова. Я беру одну из бутылок и киваю Севе: «Уходим?»

Сева показывает глазами: «Догоню».

– В люлю? – Степанов тоже встает.

– Пройдусь, – неопределенно мотаю головой.

– В сенях бахилы.

На улице тишина, только сосны шумят. Валуны на берегу облиты лунным светом, воз-
дух от воды искрится. Поверхность моря исчерчена струящимися потоками. Прилив.

В темноте звенит стаканами Сева. Мы садимся на камень, но Сева тут же встает.

– Что такое?

Шарит ладонью:

– Смотри-ка...

Из камня торчит железное кольцо размером с баранку.

– Вьюха, – говорит Сева.

В Двинске он купил словарь поморского языка и теперь щеголяет.

Мы чокаемся и выпиваем. Несколько минут молча смотрим на воду.

Сева знает, что я хочу спросить, и начинает первым.

– Тело кремируют в Двинске, – говорит он. – Урну заберем в Устье. Все.

Тишина.

– Он из детдома, – Сева как будто оправдывается.

– Урну? – выдавливаю я.

– Отвезем на канал, пусть разбираются.

Я поворачиваюсь к Севе, но вместо лица вижу только блестящие линзы.

– Почему? – спрашиваю линзы.

– У каждого своя смерть.

– Даже нелепая?

– Даже.

– Какой смысл в нелепой смерти?

– Что вы как маленький, – отвечает Сева. – Оставьте хоть что-то без объяснений. Это же не математика.

Потоки воды складываются в иероглифы. Наверное, он прав, но почему все во мне протестует? Почему кажется подлостью?

– Это затронуло вас лично, – тихо объясняет Сева. – Затронуло и напугало. Вы же о себе подумали? Себя представили? Себя пожалели?

Он обводит стаканом берег:

– А сколько народу исчезло здесь? Или в Двинске? Почему вы не думаете? Таких же молодых, ни в чем не виноватых.

– Но ведь мы были вместе, Сева. Мы...

– Вам жалко себя, – перебивает он. – Перестаньте жалеть себя, и все пройдет. Это же судьба в чистом виде, божий промысел. Винить некого.

Его линзы сверкают совсем близко:

– Или вы судьбы боитесь?

Я разливаю остатки.

Сева вздыхает, потом пьет.

Тишина, только из избы долетают взрывы хохота.

– Вы знаете...

Он несколько секунд думает.

– Это уже не первый раз, когда мы с ним сталкиваемся... – Он показывает на монастырь, чья стена белеет в лунном свете. – Я про Никона. Помните Макарьевский?

– Никон был там послушником...

– ...трудником, – поправляет Сева. – А этот монастырь построил в силе, патриархом.

Вторым лицом государства.

Он оживает:

– Помните, мы говорили, как это странно, что патриарх Никон и протопоп Аввакум родились в одном месте? В соседних деревнях?

Честно говоря, не помню.

– Понимаете? Люди, ставшие на полюса жизни страны, были соседями. Из одного теста. И такой мощный и разный взлет. Разлет. В разные концы истории. Почему?

Мне не очень понятно, куда Сева клонит.

– Но перед этим судьба сводит их в Макарьевском. Что-то вроде репетиции, да? Больше там ученых мест ведь не было. И вот они приходят из своих сел. Ничего не зная друг о друге – встречаются. И несколько ночей спорят. До утра, до хрипоты – монахи слышали. А потом расходятся в разные стороны, чтобы сойтись через много лет в большой истории.

Сева любит такие парадоксы.

– О чем? – спрашивает он, поблескивая линзами. – О чем они спорили? Два человека, определившие жизнь страны, что не поделили ночью в монастырской келье? Какую мысль не договорили?

В бараке тихо стучит дверь.

По траве шелестит струя.

В такие минуты мне кажется, из Севы получился бы неплохой ведущий. Страстный, эмоциональный рассказчик. Не то что я.

– А если это конфликт поколений? Между старшим и младшим братом? – говорю я. – Только в государственных масштабах? Была же разница в возрасте...

– Пятнадцать лет.

– Вот видите. В какой-то момент младший вынужден строить свою берлогу. Свою Вавилонскую башню.

Сева молчит, потом отвечает:

– Кончили они одинаково.

Я соглашаюсь:

– Каждый упал со своей башни.

– Вы-то на чьей стороне?

В его голосе улыбка.

– С какой башни падать?

Несколько лет назад я не задумываясь ответил бы: «С Аввакумовой». Но теперь говорю:

– Не знаю.

На следующий день сеет мелкий дождь, но к обеду неожиданно светлеет. Это самая хорошая погода для съемок, и дядя Миша торопится, гонит всех на выход.

После полудня мы перебираемся с улицы в храм. Когда Степанов отпирает дверь, я замечаю как Сева украдкой крестится.

Техник, замыкающий шествие, крестится тоже.

Через десять минут все готово, нужно только поставить свет. Это работа осветителя, и я смотрю на его кофр, как на ящик Пандоры. Наконец дядя Миша, тихо чертыхаясь, вскрывает его. Мы ставим лампы, тянем кабель. Сева щелкает тумблером.

От света храм словно раздвигается. Купол, ниши – уходят в глубину. Такое ощущение, что храм не забросили, а просто недостроили.

Пока наши доснимают в храме, я свободен. Можно изучить Остров, хотя что? Через пять минут слепая тропа выводит по хребту на перешеек, слева и справа валуны, море. Вот и весь Остров. А дальше через пролив – Малый.

Я перехожу по камням на ту сторону. Малый Остров совсем крошечный, и тропа быстро упирается в рощу; дальше обрыв. Над обрывом между двух сосен заросший холмик. Деревянный крест – поперечина висит на гвозде, как пустой рукав. А сам холмик обложен камнями. Несколько минут я молча стою над крестом, кутаясь от ветра. Ни надписи, ничего. Безымянная могила.

После ужина все разбредаются по комнатам. Витя, пока работает дизель, подключает компьютер, остальные режут в карты. Дядя Миша ушел к себе за перегородку. Сева, сложив на груди руки, дремлет у печки.

Я возвращаюсь в избу.

Степанов не спит, возится за занавеской.

– Алексей! – Я хочу спросить про могилу.

Занавеска отодвигается:

– Аю?

Он слушает, пощипывая ухо:

– Вам для передачи?

– Нет, зачем.

– А то это ж легенда.

Помолчав, он рассказывает.

– Давно, в пятидесятых. Два бича, он и она. Пара. Откуда, никто не знал, а сами не распространялись. После лагерей, наверное. Ну и договорились, начальство даже керосин выдало. Вроде платы за охрану, за зиму. Хотя от кого охранять? Всю зиму Остров и так заперт.

– Как это заперт? Землю вон с берега видно.

– Лед не схватывается, – отвечает Степанов. – Из-за реки, течение же. В сплошное крошево. Ни на лодке, ни пешком до апреля.

Степанов чему-то посмеивается, а я не могу поверить: быть отрезанным от всех? Когда до земли рукой подать?

– Метафора.

– Аю? – Степанов не понимает.

– И что могила?

Он снова выглядывает из-за занавески:

– Я и говорю, в зиму один так заболел, что без специальных лекарств никак. И второй пошел, на лодке пошел. А когда вернулся, тот, больной, уже помер. Опоздал он. Ну и похоронил. Я мальчишкой был, точно не знаю. Но говорили – так было.

– И что потом? Который остался?

– Весной исчез, – Степанов пристально смотрит на меня. – Когда пришла партия, ни его, ни лодки. Только могила.

Смотрит на этажерку:

– И вот.

Он приподнимает журналы, тянет.

Из стопки сыплется труха и мышинный помет.

– Дневник, тридцатые годы, – протягивает тетрадку Степанов. – Только страницы на растопку повыдрали.

– Бичи – и дневник?

Честно говоря, мне немного страшно открывать эту пухлую, в черной дерматиновой обложке тетрадку.

– Так они из образованных, – говорит Степанов. – Интеллегенция.

Он приглаживает жидкие волосы и снова пристально смотрит.

– После лагерей таких на Севере много было. Тут прописку не спрашивают.

6. Человек с микроскопом Дневник неизвестного

В тот день мне сказали, что в школу приехал человек с микроскопом и все желающие могут посмотреть в этот прибор. Микроскоп я видел только в энциклопедии и сразу же ринулся в школу. Не застав человека, я страшно расстроился. Но вскоре мне повезло познакомиться с ним.

Этим человеком был новый школьный инструктор Сергей Поршняков. Наше знакомство произошло вот как. Узнав, что этот самый Поршняков интересуется всякой всячиной, я пришел к нему с карманами, набитыми окаменелостями с берегов Увери. Узнал в школе адрес и явился.

Дверь открыл темноволосый, с небольшой бородкой, человек в роговых очках, под которыми скрывались светлые глаза. При близоруких глазах взгляд его был на удивление прямой, очень спокойный и внимательный. Принял он меня радушно.

В крошечной комнате с окнами на реку было много книг. На столе, занимавшем полкомнаты, стояли спиртовые препараты и научные приборы. Несколько географических карт на стенах и даже подзорная труба. Все это говорило о широких интересах хозяина. Что он человек из мира, не похожего на тот, который окружал меня в Дубровичах.

Вскоре наше знакомство с Поршняковым перешло в незыблемую дружбу. И это при разнице в возрасте! Он как будто взял надо мной шефство, негласную опеку. Рассказал обо всем диковинном, что хранилось у него в доме. Дал почитать книги по истории края. Научил, как работать с микроскопом. Открыл мир инфузорий. И, главное, решительно посоветовал поступить на службу. В городской музей, где он и сам в ту пору работал.

Штат музея, помимо Поршнякова, состоял из директора и сторожихи-уборщицы Агафьи Капитоновны. Но для меня тоже нашлось место, правда, без особой специальности. Работа сразу понравилась, хотя мне, конечно, недоставало того поршняковского самозабвения, с которым он отдавал жизнь изучению родного края. Особенно радовало то, что по работе приходилось сталкиваться с различными отраслями промышленности. В поисках материала я побывал на стекольных фабриках и в каменоломнях. Заходил на наши знаменитые заводы огнеупорных материалов. Даже на бумажную фабрику меня однажды пропустили. А ведь еще несколько лет назад я был мальчишкой и не смел помышлять о подобном.

В музей часто звонили из НКВД, чтобы разобрать какое-нибудь имущество – церковное или вымороченное. После одного такого звонка несколько дней провозился я с наследством некоего Ивана Беляева, бывшего фабриканта глиняной посуды нашего города. Этот Беляев оказался предусмотрительным малым и прикрыл дело ровно перед самой Революцией. Репрессиям он не подвергся, но судьба все равно нашла его – дожив до глубокой старости, он был убит с целью грабежа своими квартирантами: девкой Фишей из деревни Барышево и ее любовником.

Родных у старика не было, и поэтому имущество перешло НКВД. Так я оказался в мрачном доме, стоявшем у городских ворот. Странное чувство суждено было испытать мне, разбирая вещи старого скряги. Все знали, что последние годы он жил бедно, чуть ли не подаянием. И вот оказалось, что все комнаты, кладовые, подвалы и чердак в его доме буквально забиты вещами. Тут обнаружил я глиняные садовые вазы в большом количестве; почти не ношенные, но окончательно изъеденные молью шарфы и шубы; самовары с царскими клеймами; дамские шляпы довоенных времен; сотни глазурованных горшков; ящики с печными изразцами; десятки бидонов с олифой, стопки дореволюционных журналов различных обществ; несколько патефонов и горы пластинок к ним; несколько печатных машинок и целый сундук с иконами из церкви, которую недавно взорвали.

Среди хлама подвернулась мне тетрадь, исписанная довольно корявым почерком. В ней старик пытался дать что-то вроде воспоминаний. Владел он пером едва, но тетради все равно каким-то чудом передавали «дух эпохи». Забегая вперед, скажу, что свой дневник я начал писать после беляевских тетрадей.

Примерно в то время я начал писать и стихи. Как это случилось, сейчас не помню. Знаю только, что никакого специального толчка или желания не было. Просто стал писать, и все тут. Но что делать дальше пишущему человеку? В литературе тогда владычествовал недоброй памяти РАПП во главе с «великим инквизитором» Авербахом. А я писал лирику, то есть шансов быть услышанным не имел. Но поскольку никакой поэт не может жить в одиночку, я принял решение послать свои вирши какому-нибудь известному стихотворцу.

Выбор пал на Всеволода Рождественского. Он не стоял в первой пятерке советских поэтов, но мне нравились его стихи за то, что в них говорилось о солнечных днях, о дальней дороге, о светлой юности.

Спустя время в Дубровичи пришел конверт на мое имя. Рождественский ответил хорошим, подробным письмом. Он писал о моих стихах, что это стихи пока еще неисключенного в поэзии человека, но что «в Вас есть главное – воображение и способность чувствовать за внешним миром его подлинную материю». А мастерство и голос придут со временем сами.

Уже будучи студентом, в Ленинграде, я пришел к нему в гости. Рождественский вспомнил меня. Мы провели целое утро в душевной беседе. Он читал свои ненапечатанные стихи, а я, робея, свои. Потом он рассказывал о жизни Максимилиана Волошина, которого я давно включил в число «своих». Вспомнили мы и Гумилева... С волнением смотрел я на автограф Николая Степановича: лист бумаги, исписанный некрупным, ровным почерком красными чернилами. Это были стихи из «Огненного столпа».

Безудержная скачка по времени и пространствам. Вождь непокорного племени; беглец из египетского плена; мудрый дервиш, которому сладко в шуме базаров «жить святым и нищим, перебирая четки дней». Неважно, что путь Пегаса усеян ляпсусами. Неважно, что стихи получаются не очень. Зато можно представить себя римским воином. Средневековым дровосеком. Жрецом храма Любви. Капитаном корабля или на худой конец машинистом. Робинзоном Крузо. Можно сродниться с этими людьми в борьбе со словом, перевоплотиться в них. И в этом перевоплощении нарушить границы «я».

Или перевоплощаться в себя? Только отнесенного подальше от действительности? О, в каких положениях только я не бываю *там*. Например, люблю прекрасную девушку. Отвечает ли она взаимностью? Иногда стихи говорят мне, что да – ведь *там* я лучше, чем *здесь*. Но иногда...

А еще земля под ногами. Эти дома на земле, поля, люди. Все, что передо мною, и сама я – каким живу на земле. Да, иногда Пегас появляется и тут. Но ему не слишком по душе в наших палестинах. Ведь здесь надо топтаться на узкой дорожке. С одной стороны, сорная трава самоуничтожения, с другой – желание слиться с людьми – вот и весь пейзаж. От такого Пегасу скучно! И он удирает... О, это норовистая лошадка. Ни малейшего принуждения она не выносит. Только полная свобода, иначе она упирается или сбрасывает крылья. И превращается в клячу, которую нужно тянуть через силу.

Все это относится к тем стихам, которые были написаны в Дубровичах. Тогда, в двадцать лет, я был одинок и не верил в себя. И мои стихи стали для меня спасением.

Возможность выступления в печати меня почти не интересовала. А два-три стихотворения, случайно опубликованные в «Красном Балтийском флоте», в расчет я не брал. О печати я думал как о деле преждевременном.

Позже я попытался перестроиться на современный, рапповский лад, и начал писать о том, что требовало время. Правда, из этих попыток ничего не вышло. Но благодаря им я

понял важную вещь: что поэт становится поэтом, когда идет своей дорогой; когда он прав только перед собой и богом поэзии Аполлоном; а на всяком ином пути поэзия превращается в *ничто*. Иногда это *ничто* бывает веселым или полезным для текущего дня. Но к поэзии отношения уже не имеет. Хорошо бы придумать для этого *ничто* особое слово. Называть его хотя бы «ритморечью», чтобы не вносить путаницу. Не вся ли беда в нашей литературе от этой путаницы?

Побившись сколько-то времени, я решил: раз мне скучно писать на заказ, я не поэт и мне следует замолчать. И я замолчал. Мое молчание еще более убедило в отсутствии поэтического дара, ибо принято считать, что поэт молчать не может. С другой стороны, разве не бывает длительный сон души? Разве не молчали десятилетиями Фет и Рембо?

Я не писал много лет, невзирая на настояния Поршнякова, моего вечно сурового критика. Скажу сразу: в многогранной натуре этого человека жила *настоящая* любовь к поэзии. То глубокое, интуитивное ее понимание, какое теперь так редко встречается даже в среде культурных людей. Поклонник жизни с большой буквы, он был влюблен в поэзию. Конечно, он осуждал меня за мотивы упадничества. Но в то же время называл преступлением мое поэтическое молчание.

Рабфак в Дубровичах окончен. Ну а дальше? Если не брать литературу, по своей натуре я склонялся к истории. К тому типу людей, которых называют «борцами с забвением». Кто находит удовлетворение, давая подобие второй жизни давно ушедшему. Для человека с таким мироощущением привычно сознание долга перед прошлым. Он чувствует моральную обязанность говорить за тех, кто больше ничего сказать не может. Для людей такого склада очевидно, что забвение прошлого есть уничтожение настоящего, ведь оно тоже станет прошлым. Забывать прошлое – значит унижать себя и свое время, вот что я чувствовал.

И все же я не пошел по этому пути. Причиной стало опасение, что мне не по зубам «партийность». То четкое следование догме, которая более всего имеет место в гуманитарных науках. Что было делать? Я вспомнил, как еще мальчишкой увлекался Бремом, Гааке и Шмейлем. И вот, взвесив все «за» и «против», решил поступать на биологический факультет Ленинградского университета.

Поймет ли молодежь, поступавшая после школы, что значит в тридцать лет переступить заветный порог? Первая лекция на Среднем проспекте, химия. Острое ощущение новизны. И тут же досадное открытие: ты не умеешь следить за лекцией, не можешь аккуратно вести записи. Слишком отвлекаешься, не следишь за мыслью.

Дело в том, что учебу в Ленинграде я расценивал как период жизни, который нужно ощутить во всей полноте. Ведь потом, когда судьба забросит меня куда-нибудь в тмутаракань, что мне будет вспомнить? Именно эта мысль мешала мне погрузиться в занятия. А еще то, что биологические науки по-настоящему так и не заинтересовали меня. История – вот к чему продолжала лежать душа.

В первый месяц учебы мне выпало настоящее студенческое крещение. Денег, кроме тех, которые я получал, продавая свои книги, нет. Обращаться к родным нельзя, они сами еле сводят концы с концами. Да еще без хлебной карточки. Так и пришлось до самого октября жить на кипятке и черном хлебе. На рынке, где я отоваривался, случались истории. А какие типы! Вот паренек продает девушкам тексты песенок из кинофильмов. Вот у забора вполголоса поют о Смоленской Божией Матери две черные монахини. Вот торговки миногами, которых гоняет дежурный милиционер («Эй вы, со своими змеями!»). И я – брожу среди них, прицениваюсь. Смотрю голодными глазами.

Однажды к нам в комнату № 100 подселили историков. Сразу стало шумно и весело и невозможно заниматься. То грубоватый вятич Филипп Криницын схватывался с рогачевским евреем Борисом Гуревичем, имевшим плохую привычку в разговоре придвигаться к собеседнику – дескать, какой он историк, если путает детей Ярослава Мудрого. То женственный Леша Бабич читает стихи Луговского, Багрицкого, Пастернака. А вот сельский учитель из Белоруссии Лашкевич тягучим голосом повествует о своих любовных похождениях.

Вскоре историки переехали, но я долго еще скучал по ним. Их разговоры заставляли меня думать о главном. А была ли у нашей страны другая дорога? Бывает ли вообще в Истории выбор? Какое влияние человек и его идеи – пусть самые ничтожные, мелкие – оказывают на ход событий? На подобные вопросы наши преподаватели не отвечали. Да и задавать их в то время было небезопасно. Но как человеку жить без ответов на эти вопросы?

1 декабря 1934 года. В этот день я пришел в общежитие поздно, засиделся на Мойке у однокурсника. Разделся, повесил пальто. Где все? В комнате у печки только Федя Дорохин.

– Иди, наши там, – он говорит, не поднимая головы, глухим голосом. Ничего не спрашивая, бегу в столовую.

В столовой поют «Интернационал». Опоздал, расходятся! Какая тяжелая, недобрая тишина... Что? Что случилось?

– Кирова убили, – наконец выдавливает Криницын.

– Кто? Как? Зачем?

– Ничего не знаю. Убийца задержан.

2 декабря 1934 года. Четыре часа утра. Весь университет во дворе, тысячи человек. Мы идем прощаться с Кировым. На улице морозный туман и камни на набережной покрыты инеем. Мы идем. Со всех концов стекаются молчаливые, темные в предутренней мгле колонны людей. Над головами знамена с черной каймой. Мы идем.

Мы поднимаемся по ступеням Таврического. Где-то звучит музыка, тихая. Она все громче, громче. Входим. В высоком зале среди пальм, под склоненными знаменами семи республик возвышается постамент. На нем в цветах гроб, в гробу – Киров. В первое мгновение он кажется огромным. Его пожелтевшее лицо точно выбито в камне. Темные пятна на угловатом широком лбу. Тяжелый, волевой подбородок. Неподвижность.

Почти у всех на глазах слезы. Я тоже прячу лицо. Да, сегодня в этом зале каждый дает себе какую-то великую клятву. На всю жизнь. На все времена. Клянусь себе и я.

Еще вчера я спрашивал себя об Истории – какой в ней смысл? Куда она движется? А теперь слышал ее чугунную поступь. Эта История была совсем не та, о которой нам говорили на лекциях. Или о которой мы рассуждали с ребятами. Она была настоящей, ибо бесповоротной. Равнодушной в своем неумолимом, каком-то почти природном движении – к человеку и тому, что он делает. Стирающей или накрывающей все на своем пути, как ледник или тьма. И эта тьма окутывала нас.

Выстрел в Смольном прозвучал как объявление войны. И недолго оставалось ждать ответного шквала. Но против кого? Мы, студенты комнаты № 100, только гадали. Конечно, жесточайшие репрессии применят к тем кругам, представителем которых был убийца. Но что это за круги? Шпионско-диверсантские? Староинтеллигентские? Ясно было одно – прямые виновники увлекут за собой в бездну других. Тех, кто состоял в родстве или был связан знакомством, обстоятельствами жизни. Даже случайной встречей, разговором.

И вот – началось. Листки на университетской доске приказов. Читаю:

– Исключается из числа профессоров... Исключается из числа доцентов... Исключается... Исключается... Исключается...

Одним из первых – Маторин, профессор исторического факультета. Когда-то он работал личным секретарем Зиновьева.

Следом исчез декан того же факультета Зайдель – ему было предъявлено обвинение в организации террористической группы в Академии наук. Потом по университету разнеслась весть, что расстрелян студент четвертого курса Сергей Транковский. И дальше, дальше – без счета, без перерыва. Страшное время!

7. Банка из-под конфет «Моцарт»

Степанов сидит на корме, на ящике с песком. Сапоги у него блестят на солнце. Он по-кошачьи щурится, провожая взглядом Остров, чья серая полоска стремительно сужается на горизонте. Снова прикрывает глаза.

Я догадываюсь, о чем он сейчас думает – что все изменится. Что после нашей передачи начальство прикажет решить проблему. Деньги, конечно, разворуют, но что-то же останется? На это «что-то» он заделает крышу братского корпуса, а если повезет, и купол.

Какое дело Степанову до монастыря? Если даже стране этот монастырь не нужен? Он переводит на меня взгляд, я опускаю глаза. Ни один из выпусков нашей программы еще никому не помог, мне это хорошо известно. Его Остров исключением не станет.

...На море штиль, наши на палубе – курят, сплевывают. Фотографируются. Слушают байки дяди Миши и даже смеются – не байкам, а хорошему настроению, потому что съемки позади, мы возвращаемся.

В сумке у меня «Дневник». Я перебираю в памяти эпизоды, фразы. Ничего особенного, но как упрямо этот человек смотрит в свой «микроскоп»! И это его знание – свое, внутреннее. Такое невозможно приобрести с чтением или опытом. Откуда оно? Ведь никакого опыта у него, до тридцати лет ходившего в мальчишках, не было. А «микроскоп» был, и знание тоже было.

Войдя в реку, катер прибавляет обороты. Снова безразмерная, удвоенная облаками линза воды. Лысые берега, причал. Песчаная полоска берега и наш фургон.

Я сбегая по доске первым.

– Ну как?

– До Москвы дотянем, – мрачно отвечает Игорек.

Пока мы обнимаемся, за его спиной терпеливо ждет молодой человек в костюме и галстуке. Кажется, я знаю, зачем он здесь.

– Безлюдный, – представляется он.

Рука у него прямая и твердая.

Он и Сева отходят к «уазику», который приехал за Степановым. Через минуту Сева машет рукой: «Подойдите».

Безлюдный помогает открыть картонную коробку. В коробке лежит большая круглая банка из-под конфет «Моцарт». Несколько секунд мы молча смотрим на красную крышку с портретом композитора. Потом Безлюдный расправляет листок, а Сева достает ручку.

Степанов долго прощается, трясет каждому руку.

Наши благодарят за Остров.

– Алексей, нет – правда...

– Мы много где, но...

Очередь доходит до меня.

– Забрал тетрадку, – пожимаю мягкую ладонь.

– Ну и слава богу.

Он шамкает губами, как бабка.

Игорек сочувственно поглядывает в мою сторону. Он в курсе, *что* мы везем.

– Остальным ни слова, – прошу я.

Хотя зачем? За неделю на Острове об осветителе никто даже не вспомнил.

До Двинска двести километров по тайге, но груженный фургон будет ехать часа четыре, поэтому на выезде народ просится в магазин.

– Только по-быстрому, – тон у Михал Геннадьича деловой.

Наши вылезают.

– А вы? – Сева.

– Пакет кефира, ладно?

Коробка стоит там, где сидел осветитель. Перегнувшись, открываю и достаю банку. Тяжелая, и не подумаешь, что пепел столько весит. Перекладываю банку в свой пакет. Прячу под сиденье.

Через десять минут наш фургон мчится вдоль моря. Пока асфальт не кончился, Игорек газует. Берег утыкан дачными домиками, но по карте видно, что скоро дорога уйдет в тайгу. Значит, пора.

– Извини, забыл, – говорю водителю.

В смысле, приспичило.

Машина, шелестя гравием, скатывается на обочину. В наступившей тишине что-то шелкает и потрескивает под капотом. Какой-то сверчок допеваает, дотягивает свою песню. Но вскоре он стихает.

– Не расходимся, – толкаю дверь. – Дядя Миша, проконтролируй.

Сосны шумят над головой. Начался отлив, камни выросли из воды. Прыгая на песке, скидываю обувь, закатываю джинсы.

Вода ледяная, а песок на дне плотный.

– Подождите! – это кричит Сева.

Я оборачиваюсь – в длинном черном пальто он похож на шахматную фигуру.

«Черт бы тебя побрал».

Когда джинсы намокают, кое-как вынимаю банку. Сначала она никак не открывается, я даже ломаю ноготь. Когда крышка съезжает набок, пепел вырывается из банки и струится по ветру как газовый шарф. Он оседает на воду и превращается в рябь, бесконечно бегущую к бесконечно недостижимому берегу.

Несколько черных комков падают в воду. Все, дело сделано. Только один вопрос, что с пустой банкой, сводит с ума.

– Ну! Давайте! – снова кричит Сева. – Замерзнете!

На душе легко и спокойно, как бывает, если выполнить то, что не мог не сделать. Вот только банка.

Сева помогает выбраться, протягивает фляжку. Коньяк обжигает, и по телу, пока я обуваюсь, растекается тепло. А Сева торопливо набирает в банку песок. От ветра полы его пальто развеваются как крылья, теперь Сева похож на крупную птицу. Он прячет банку с песком в пакет. Я киваю: под бумагой подпись, мы должны привезти на канал хоть что-то. В том, что ни одной живой душе не придет в голову открывать банку, можно не сомневаться. И мы, разделившие с этой минуты никому не нужную тайну, идем по песку к машине.

8. Два потерпевших

Он посчитал: ровно неделя с той ночи, как исчезла Аня. С тех пор как они не видели друг друга. Значит, то, что произошло, не случайность или недоразумение, и нужно не ждать, а действовать. Но как? В расписании театра ее спектаклей не значилось. У него в комнате-коробке Аня тоже не появилась. А когда он приехал на Гастелло, хозяйка просто захлопнула перед ним дверь.

Он решил выбрать наблюдательный пункт – рядом с домом, в заброшенном особняке у железной дороги. В комнате, бывшей конторе, откуда Анино окно было как на ладони. Он приходил сюда каждый вечер. Приходил, садился за пыльный стол и ждал. От грохота электричек мутные стекла в комнате дребезжали. Звенела крышка старого чайника, подпрыгивала и брякала ручка пустого письменного ящика. А он сидел и смотрел через улицу.

Напротив одно за другим зажигались окна. Люди приходили с работы, дом наполнялся жизнью. Только Анино окно оставалось темным. Это слепое пятно словно говорило, что Ани нет и не существовало. Что это не они целовались на крыше над улицей. Не смотрели в чужие окна. Эти окна горели как прежде, неярким светом. Внутри ничего не изменилось тоже, те же синие майки, мучнистые лица. Но теперь между ним и этими окнами стояла стена. Прозрачная, она отрезала его от мира – вместе со старым особняком, где он прятался.

Зачем ты ее бросил в редакции? – спрашивал он себя. Зачем сыграл роль мальчика на побегушках? Зачем, зачем... Днем, забросив учебу, он бродил по улицам. Всмотривался в лица – вдруг что-то или кто-то подаст знак. Смеялся над тем, каким по-детски нестерпимым было желание, чтобы Аня сию минуту оказалась рядом. Иногда внутренний голос подсказывал, что ничего страшного не произошло. Надо просто забыть о ней, если она поступила так с тобой, исчезла. Выбрось из памяти, и пусть время лечит. Но желание оправдать себя побеждало. Он отвечал себе, что ищет Аню только с одной целью: чтобы узнать, в чем его вина. Что без него Аня счастлива и спокойна.

Постепенно в его воображении прочно обосновался образ Виталика, человека из редакции. Сколько ни гнал он его как ничтожный, нелепый, сколько ни говорил себе, что невозможно, «она и этотот!» – голос подсказывал: ответ на все вопросы рядом с этим человеком. Что Аня и он связаны, причем задолго до всего, что случилось.

Единственной зацепкой оставалась Татьяна, но записку с телефоном он выбросил, а адреса не запомнил. Да и как смотреть в глаза после того, как исчез и не позвонил он сам?

Каждый день он поднимался на последний этаж. Он барабанил в двери редакции, но те только безучастно гремели. Садился перед окном на лестнице и смотрел вниз на улицу.

Двери оставались одинаково запертыми, а улица менялась. Привкус нового, непривычного, тревожного витал в воздухе. Даже люди изменились. Беспокойство – вот что теперь читалось на их лицах. Глядя на людей, он испытывал зависть, ведь они могли жить внешней жизнью. А он жил внутри того, что произошло. Внутри себя. Сидя на площадке с полукруглым окном, где еще не убрали пепельницу с окурками той ночи, он замечал, что идет снег. Но когда осень сменилась зимой? Этого он не помнил.

Внизу опасно задирали головы прохожие. Чистил снег солдат из пожарной части – спокойными, размеренными движениями. Как ему хотелось быть на месте этого солдата! Ни о чем не думать, ничего не планировать. Никого не искать, а только чистить снег и ждать, чистить и ждать.

И вот то, за чем он охотился, случилось. Как если бы своим многодневным ожиданием ему удалось выпросить у судьбы подачку. Это произошло вечером на улице Герцена. Сначала из магазина «Свет» вышел молодой человек, и он сразу узнал одного из тех, Гека. Гек держал

в руке коробку, а другую протягивал Татьяне. Да, это была она. В короткой юбке и красной курточке, отороченной пегим мехом, Татьяна опасливо переставляла каблуки по скользким ступенькам.

– Ба, пропащий! – Подняла глаза. – Здравствуй!

Сырой и снежный воздух тут же наполнился ее визгливой, торопливой речью.

Судя по тону, она не держала обиды или умело скрывала. А Гек просто стянул перчатку и коротко пожал руку. Втроем они потащились вверх к бульвару, утаптывая снежную кашу.

– Чего не заходишь? – спросил Гек. – У нас новое место.

Имелась в виду редакция.

– А где?

– Новый Арбат. Ты ведь пишешь?

Пока Гек рассказывал о газете, Татьяна делала вид, что разглядывает фотографии в окнах ТАССа. Надо сказать, что этот Гек все больше раздражал его – своим развязным тоном и тем, что сразу перешел на «ты»; что читал и даже запомнил его заметки о книгах; но главное – тем, что мешал поговорить с Татьяной.

«Сбить бы его школьные очки, врезать».

Словно читая мысли, он сунул ему коробку.

– Давай, держи. Всего хорошего.

Гек попрощался с Татьяной и повернул в сторону. Оставшись вдвоем, они пошли дальше к «Пушкинской».

– Только ничего не говори, – сказала она.

Мягко взяла под руку, поправляя красный волосатый беретик.

Мокрый снег под ногами чавкал, а коробка глухо стучала.

– Ты не переживай, – погладила по рукаву.

– Чего мне переживать? – грубо соврал он.

Она прижалась к нему.

– Мы оба потерпевшие, – сказала, не глядя на него.

Он зачем-то хмыкнул.

В глазах Татьяны мелькнуло что-то подлинное, тусклое и горькое. Жалость к нему, к себе.

– Это даже хорошо, что ты... – недоговорила она.

Посмотрела из-под беретика.

– Она вернется.

– Что?

С коробкой в руке и открытым на полуслове ртом, он стоял на бульваре и ловил воздух.

– Скоро!

Она поцеловала его и тут же вытерла помаду. Забрала коробку. Не оборачиваясь, засе-менила к метро по бульвару. А он стоял и не знал, что делать: ликовать или плакать.

Медленно пошел обратно к памятнику.

Сложив руки на животе и опустив голову – словно передразнивая памятник, – у поста-мента ждал Гек.

9. Практика гавайских закатов

Оказывается, Гек не ушел, а ждал на бульваре, когда мы расстанемся. Почему он решил, что я не поеду с Татьяной?

– Выпьем? – предложил он. – Домжур?

Развязный тон сменился просительным. Теперь передо мной стоял обычный близорукий молодой человек в шапочке-петушке.

В Домжуре бывать мне не приходилось, да и перемена в тоне Гека заинтриговала. Чего это он? И я, подумав, согласился. После разговора на бульваре возвращаться домой совсем не хотелось.

По его «корочке» нас пустили в нижний бар. Пока Гек двигал табуреты у стойки, я с любопытством осматривался. Обстановка тут была как в советских фильмах про за границу: джаз, ночники на столиках и зеркальный шар под потолком.

– Слава! – Гек поднял руку в приветствии.

Бармен невозмутимо кивнул и продолжил крутить полотенцем в стакане. Цепочка на его очках в такт покачивалась.

– Лучший в Москве, – зашептал Гек. – Про тебя рассказываю! – Это он произнес громко.

Слава дотронулся до галстука и наклонил голову.

Денег хватило на водку, сок и пару бутербродов.

– Конечно, тут не Америка, – Гек поднял рюмку.

– Ты был в Америке? – мне хотелось подловить его.

– Да.

Я осекся, а он помахал кому-то рукой.

Дама в открытом платье в ответ улыбнулась.

– Ты знаешь, они... – он ткнул пальцем за спину, – меня заклевали. Татьяна эта, Виталий Вадимыч. Говорят, мы тебя отправили в Америку, а ты? Что привез? Что написал? Я пытался объяснить. Честно, что это главное. А Татьяна идет пятнами, за сердце хватается. Главный ржет как мерин. Будешь слушать?

Неужели он ждал меня на бульваре только для того, чтобы рассказать про Америку?

– Давай.

Со слов Гека выходило, что в Штаты его отправил главный редактор, тот самый Виталик. Это была стажировка на Западном побережье. И вот теперь ему, Геку, надо было со мной посоветоваться.

– После курса, – продолжал он, – нам полагался творческий отпуск. На Гавайях. Чтобы там, у океана, мы спокойно все написали. Ну, об американских ценностях. Вот я и написал. Что для меня... Что у них...

Он отставил пустую рюмку и открыл сумку.

На стойку легли исчерканные странички машинописи. Он поднял глаза, потом опустил голову.

– «Чаще всего человек думает, что о закатах ему все известно, – начал с ходу читать он. – Между тем есть закат и закат, и разница между ними, как между дачным спектаклем и оперой. Тихое увядание, исчезновение: вот классический русский закат средней полосы. Солнце садится долго, но его не видно. Оно там, за лесом – куда взгляду невозможно проникнуть. Русский закат – это всегда недосказанность, незавершенность. Фон, на котором так хорошо предаваться мечтаниям или грусти. Другое дело океан. Тут солнце не тихий гость, это уход с большой буквы. Так уходят даже не короли, а боги. Всесильные боги, которым нет дела, что на них смотрят. Русский закат всегда один и тот же, и в этом его обаяние; фатум,

милый нашему сердцу. На океане закат разный. Бог не повторяется, каждый вечер у него новое представление...»

Гек пропустил страницу:

– Ты слушаешь?

Я был идеальным слушателем.

– «В тот день на небе с утра бродили тучи. Низкие и однообразные, они не предвещали ничего интересного. Только опадали и надувались, опадали и надувались. И когда их разносило, они висели на небе, как промокшие простыни. Пока наконец не случилось вот что. Неожиданно брюхо самой крупной тучи лопнуло. Из образовавшейся дыры хлынул поток ослепительного солнечного света. Этот луч белого света обшаривал воду, а туча бороздила небо, как подводная лодка. Искала кого-то или охотилась.

Между тем над самым горизонтом наметилась своя история. Нежные и белые, маленькие облачка плыли на фиолетовых тучках, как парусные лодки. Они выстроились в ряд наподобие флотилии. Они тихо покачивались на воде – пока луч из тучи не ударил по головному суденышку и не расшиб его вдребезги. Потом второе, третье. Лодочную флотилию ждал бы разгром, но тут неожиданно выглянуло солнце. Все разом переменялось. Солнце выглянуло из-за мыса, чтобы побыстрее исчезнуть в море. Но не тут-то было! Заметив солнце, и тучалодка, и полуразгромленная флотилия бросились за ним в погоню. Даже громадный дредноут, всплывший над горизонтом, и тот поплыл в сторону заката.

Он шел к месту сражения медленно, словно на буксирах, и вскоре перегородил полнеба. На палубе дредноута лежал Гулливер. Он лежал навзничь, подняв голову-облако и выставив шишкастый нос. Он лежал с закрытыми глазами, а челюсть у него отвисла. Дредноут оказался катафалком, это были похороны.

Чем быстрее ускользало солнце, тем яростнее рычал океан. Уже не в один, а в два-три яруса громоздились волны. Валы шли один за другим, и стоило одному с грохотом рухнуть, как вырастал второй, а за ним третий, еще выше и страшнее. Шум океана складывался и распадался на тысячи громов. Не океан, но оркестровая яма, где рвет струны взбесившийся оркестр, – вот что я слышал. Увертюру к оперной драме.

Но никакой драмы не было. В последний момент солнце ускользало, скатывалось за горизонт. Тут же подводная лодка и катафалк с Гулливером исчезали тоже. Несколько минут – и там, где мчалось полчище, теперь порхали комочки пуха. Не падая, они кружились, словно кто-то дирижировал ими. Как будто художник набросал их в небо специально.

Так моя жизнь на океане превратилась в киносеанс. Каких только сюжетов, райских и апокалипсических, я не насмотрелся в этом кинотеатре! Какие сражения, любовные и военные, только не развертывались передо мной! Однако самое интересное ждало впереди. «Green flash» – так называли это явление местные жители...»

– Все это хорошо и красиво, – перебил наконец я. – Но идея? В чем смысл?

Он сложил листки:

– Разве этого мало?

Вид у него был обескураженный.

– Ты пишешь «бог», «божественное», – мне захотелось помочь ему. – Но, говорят, в палестинской пустыне закаты тоже фантастические. А боги у них разные.

Гек снял очки и посмотрел на меня тихими серыми глазами:

– По-моему, на Гавайях бога вообще нет.

– Тогда – почему?

Он нацепил очки.

– Может, идея божества возникает из отсутствия?

Пауза.

– В пустыне только на небе что-то. А внизу...

Снова снял очки, потер переносицу:

– Здесь ничего, там все. Внизу камень, жара, смерть. Наверху движение, воздух, жизнь. Вода. А на острове человек протягивает руку и просто срывает то, что нужно для жизни. И там, и там изобилие. Ты это имел в виду, нет?

– Для начала.

Идея увлекала его, хотя никакой палестинской пустыни он не видел. Это была очень русская вещь, такого рода заочные выводы. Иногда они приводили к открытию, но здесь? А еще меня смущало, что по какой-то неясной причине Гек считал, что мы с Виталиком друзья. Он говорил со мной так, словно у меня есть влияние на этого человека. И что я могу помочь ему. Так впервые в жизни я почувствовал себя самозванцем.

– Ты поэт? – пришло мне в голову.

Он смутился:

– С чего?

– Ты смотришь на мир как поэт.

– Ты не знал?

Теперь он заговорил прежним, небрежным тоном.

– Нет, откуда.

– Ну, может, Виталий Вадимыч.

Я снова почувствовал себя самозванцем.

– Нет, он ничего не говорил.

Пауза.

– Пишу.

– Печатаешься?

– Печатают.

– Книги?

– Пока нет. Но вообще ты молодец... – он ушел от разговора. – Что подсказал. Спасибо.

– Покажи, у меня есть издатели, – сам не зная почему, предложил я.

У меня действительно были знакомые.

Гек повертел пустой рюмкой, полез было в сумку.

– Да ну, – бросил листки обратно. – Лучше приходи на вечер.

– Стихи?

– Да, да, – в голосе звучало раздражение, как будто он жалел, что признался. – Что еще.

– Давай.

Он назвал адрес на Чистопрудном. Число, на днях.

– Постараюсь, – пообещал я.

Но про себя знал, что приду точно.

Самозванец я или нет?

На бульваре мы разошлись: он в сторону Нового Арбата, а я вниз по Герцена. Так, ничего не узнав о той, которую искал, я обогатился гавайскими закатами и знакомством с поэтом. В том, что Гек настоящий поэт, я не сомневался.

10. Желтый, зеленый и снова желтый

Этот клуб в Сверчковом переулке открыли недавно, и в подвале еще стоял запах штукатурки. Повесив куртку на железный прут, я двинул по коридору. Налево и направо открывались небольшие сводчатые залы. В одном стояли выкрашенные красной краской стеллажи, тут размещалась книжная лавка. В другом работала кухня. А вход в третий закрывала черная портьера.

Я подошел к доске объявлений. Судя по очкам в тяжелой оправе, рисунок на афишке изображал Гека. К виску художник пририсовал пистолет, а с другой стороны болталась на веревочке пуля. Пущенная из игрушечного пистолета, пуля прошла навывлет. Что, по мнению художника, выражало суть поэзии.

В большом зале располагалось кафе. Ряды стульев делали полукруг у помоста, по-сценически обрамленного кулисами. А остальное место занимали столики.

– Один? Заказано?

Это спросил подскочивший брюнет-коротышка.

– На вечер, – ответил я.

– Поэтический! – согласился он.

Он вывел меня в коридор и приподнял портьеру. Тут находился зал для чтений, но ни Гека, ни слушателей пока не было.

– Здесь! – показал распорядитель. – Через полчаса начинаем. А пока можно скоротать время в баре.

Оценив его «скоротать время», я вернулся к стойке. В честь начала зимы в баре разливали глинтвейн. Не зная, куда девать себя, я взял стакан и прижался к стене.

Не успел пригубить, как меня окликнули. Это был Гек, он сидел слева от входа с каким-то типом.

Тип обладал поэтической шевелюрой и тянул пиво. Гек быстро пожал руку, а тот, второй – устало повторяя, что «мы в восторге от ваших рецензий, просто в восторге».

– Тут и устроим, – они продолжали начатый разговор. – Сцена, звук. Мы что, зал не соберем? На одного Негодников сколько придет. А будут еще и серьезные авторы.

– Да, да... – вяло тянула «шевелюра».

Так прошло полчаса. Все это время, пока они разговаривали, Гек озирался. Видно было, что он нервничает или кого-то ищет. Наконец, когда подошло время, к нам подскочил коротышка.

– Ну что, – он сделал приглашающий жест, – начнем?

От этого лакейского, подсмотренного в каком-нибудь фильме жеста мне стало не по себе. Но делать было нечего, вечер начинался.

Только что пустой, зальчик наполнился. С трудом отыскав свободный стул, я устроился у выхода. Помахал Геку, который проверял микрофон и пил из стакана.

На вечер собралась разношерстная публика, но почти все были знакомы между собой. То, что некоторые не подавали друг другу руки, бросалось в глаза тоже, в поэтическом мире шли свои войны.

В первом ряду сидели совсем молодые люди, студенты, и господин чиновничьего вида. Сунув портфель под лавку, он поправлял в нагрудном кармане платок, а ногой проверял портфель.

Вдоль стен слонялись долговязые красотики в джинсах, непонятно как попавшие в этот угрюмый подвал. Рассаживались ученого вида дамы с авоськами в руках. Какой-то парень с косицей методично обходил их. Когда он наклонялся, чтобы вручить афишку, косица све-

шивалась. Привычным движением он убирал ее. Дамы благодарили и прятали афишки в авоськи с продуктами.

Справа от микрофона, то есть почти на сцене, разговаривали двое. Дама с большими накрашенными губами что-то рассказывала немолодому, ей по плечу, человеку с мелкими, словно сдутыми чертами. Дама что-то шепотом доказывала – а «сдутый» делал вид, что внимательно слушает, не забывая кивать входящим.

Представляла Гека некая литературная дама. Судя по тому, каким благоговейным стало выражение у Гека, она была его редактором. Несмотря на возраст, редакторша носила зеленые обтягивающие брюки. Кривая полуулыбка, с какой она вышла к микрофону, не слезала с ее лица. Она выступала довольно долго и путано, хотя интонация чувствовалась хвалебная. Закончив, с той же неровно приклеенной улыбкой она разместилась в первом ряду.

Когда вышел Гек, раздалось несколько хлопков. Он поднял к лицу бумажки, они дрожали. Гек только сначала читал тихо, но уже через минуту стихи зазвучали громко и отчетливо. Без поэтических подвываний, которых мне меньше всего хотелось слышать. Недостатком было только то, что он спешил, словно стеснялся отнимать время.

Стихи Гека кишели яркими, иногда даже нелепыми образами. Тут было небо, которое колется, как шерстяной свитер. Спящая на телефоне кошка. Челюскинцы, дрейфующие на льдине. Говорящий укроп и античные статуи. Как и с закатами, он нанизывал и нанизывал образы. Однако здесь они складывались в подобие сюжета, и этот сюжет не давал им рассыпаться.

Ритм и рифмы были традиционными, но стихи звучали свежо и ново. Эта свежесть заключалась во взгляде на мир. Как будто поэт видел мир и вещи впервые после долгого сна. После того как забыл о них. И это ощущение передавалось слушателям.

Вскоре после начала портьера бесшумно отодвинулась и кто-то вошел. Этот кто-то встал у меня за спиной, и теперь те, кто оборачивался, чтобы посмотреть на него, смотрели на меня тоже.

Я не выдержал и обернулся. Это был знаменитый Александр Коробко, поэт-шестидесятник, недавно с помпой вернувшийся из эмиграции. Несмотря на приглашающие жесты из первого ряда, он сел у стены. А Гек сделал вид, что ничего не заметил.

Что делал знаменитый поэт на подвальном вечере? Неужели пришел специально – чтобы послушать Гека? Не успел я подумать, как портьера поднялась снова. Между стихами, когда Гек пил воду, можно было пройти на свободное место, но тот, кто стоял за спиной, не двигался.

Я решил, что мешаю, и поднялся. Это была Аня!

Ее нерешительный, выпрашивающий взгляд; тихая улыбка; блеск зрачков; и вот я забыл, кто и что вокруг; и все, что случилось раньше, забыл тоже; обида и страх, ревность и злость – улетучились, стоило мне увидеть ее.

Когда я посадил Аню к себе на колени, несколько взглядов тут же метнулось в нашу сторону. Но какое мне было дело? Теперь, когда я прижимался губами к ее затылку?

Снег колыхался над Чистыми мелкой сеткой. По той стороне летел похожий на аквариум трамвай, а здесь машины обдавали тротуар снежным месивом.

– Он не обидится? – спросил я. – Что мы сбежали?

– Ты хочешь вернуться?

Пауза.

– Как ты здесь?

– Пригласили.

– Кто?

– Кто и тебя.

Вышли на Покровку, встали на светофоре. Красный, желтый, зеленый, красный. Желтый, красный, желтый, зеленый. Целовались, и люди, чтобы перейти улицу, брезгливо обходили нас.

Потом я ловил машину.

– Нет, пожалуйста, налево.

Она отстранялась, чтобы показать дорогу.

Машина поворачивала в другую сторону.

– Куда...

– Ты что, торопишься?

В окне засверкал Калининский проспект. Несколько секунд вагоны метро на мосту летели вровень с нами, пока не исчезли в тоннеле. Потом потянулись каменные «комоды» Кутузовского. Когда дорога ушла на Рублевское, вокруг выстроились пластины многоэтажек.

– Здесь налево и снова налево.

В темноте Аня хорошо ориентировалась.

11. Квартира с двумя туалетами

Разлапистые, в засаленных пуфиках, диваны; полупустая и от этого кажущаяся огромной «стенка»; нечищенные, хотя и не старые, с пятнами от сигарет, ковры, одинаковые в прихожей и гостиной; почти такого же рисунка, что обивка на диване, шторы; столы и кресла дорогого советского гарнитура; цветной, но по нашему времени уже несколько антикварный «Рубин» – вся эта обстановка в квартире, куда мы попали, обладала тем удивительным свойством, что ничего не говорила о своих хозяевах.

Через десять минут Аня вернулась из ванны и теперь стояла с полотенцем на голове: чужая, взрослая. В чужом халате с белыми яблоками.

– Нравится? – она улыбалась.

– Чья это квартира?

– Наша.

Я молча вышел в прихожую и взял куртку.

– Что ты как маленький.

Она встала в дверях.

– Ты ничего не рассказываешь.

– Ты тоже.

– Я ждал тебя, мне рассказывать нечего.

– Ну хорошо, хорошо, – она взяла за руку. – Прости.

Кухня была настолько большой, что в ней поместился диван. Мы сели, она взяла меня за руки. С ее слов выходило, что эта квартира Виталия Вадимыча, «Виталика». Что в тот злополучный вечер, когда полгорода перекрыли, он просто привез ее сюда, поскольку имел депутатский пропуск.

– Больше-то проехать было некуда.

Сам он, продолжала она, в этой квартире не жил, а давно переехал к любовнице. Ее знал по театру – спектакль, где она с лилиями, ему понравился, они даже напечатали рецензию. А тут мы, такое совпадение.

– Он депутат от Украины. Съезда, первого – помнишь? Ну, бывший. Семья на родине, сам тут редакторствует. Любовницу ты видел, вострая блондинка за сорок. Татьяна, тоже из редакции. Квартира ведомственная, по советской схеме – вместе с мебелью и посудой. Сдавать почему-то не хочет.

Аня открывала шкафчики, где аккуратно была расставлена посуда с клеймами.

– Даже ножи казенные.

Гремела в ящиках.

– Все ж перекрыли, а тебя не было.

Она напирала на это «не было».

– Привез и к своей уехал. Посмотри, сказал. А понравится, оставайся.

Умоляюще смотрела на меня.

– Сколько можно по углам? А тут ванна. Два туалета.

Тащила смотреть туалеты.

– В этом грибы, – закрывала дверь. – Он разводит. Свет не гаси, ладно?

– Ладно.

Чем дольше мы кружили по квартире, чем радужнее рисовались картины нашей совместной жизни, тем больше мне хотелось верить в то, что я слышал. Ревность рисовала в воображении отвратительные картины, как она и *этой*. Но мечта спать в спальне, а не на топчане, завтракать в чистой кухне и говорить по домашнему телефону, а не бегать в таксофон на улицу – разве это не то, что я хотел?

– Но почему... – мне не терпелось узнать, что она делала после той ночи. Но и это легко объяснялось. Утром после событий она уехала по срочному вызову на Валдай – что-то с разделом имущества и завещанием, поставить подпись. Хотела предупредить, но в моей университетской каморке меня не застала.

– Ты же там без телефона, – оправдывалась. – Не телеграмму же посылать? Зато теперь у нас изба в деревне. Можно летом. Ты печь топить умеешь? Баню? Хочешь? Я раньше умела.

– Хочу.

Единственной вещью, мешавшей принять новую жизнь, было то, что тогда, ночью, тот самый Виталик ни у какой любовницы не был по той простой причине, что эту ночь его любовница провела с другим человеком. И этим человеком был я.

Так, с недоговоренности, началась эта «семейная» жизнь. Зона безмолвия, где и Аня, и он запрещали себе что-либо спрашивать, стала частью этой жизни. Но сейчас, вспоминая ту зиму, он готов сказать, что именно в чужой квартире они провели самое счастливое время.

В шкафу его рубашки висели теперь рядом с ее платьями. Просыпались и укладывались они тоже вместе. Ужинали, смотрели телевизор. Все это тривиальные вещи, но, испытанные впервые, они навсегда остаются в памяти. Ни забыть, ни вытравить их невозможно. Вот и его память зачем-то хранила Анину вечно расхристанную зубную щетку. Каким шампунем она пользовалась. Как постоянно забывала закрутить на тюбике крышку и та вечно закатывалась. Желтую губку и бирку на пижаме. Перед его глазами чашка, из которой она пила кофе. Недокуренная сигарета со следами кофе или помады. В каком порядке стояла в коридоре обувь. Вот Анин зонтик с рисунком английского флага, вот ложка для обуви. Плетеные тапки со смятыми задниками. Он помнил бижутерию под зеркалом и само зеркало – с календариком под зажимами. Щетку с запутавшимся волосом. Часики «Чайка» на радио. Книжечку расписания репетиций и спектаклей в театре, прижатую магнитом к холодильнику. Магнит в форме лондонской телефонной будки. Пометки фломастером, сделанные в книжечке, и сам фломастер, висевший на леске от бус, которые он рассыпал. Следы зубов на колпачке, потому что, изучая репертуар, Аня держала колпачок во рту.

Большую часть времени в чужой квартире проводил именно он. Стучал на машинке, звонил в редакции. Валялся перед телевизором. А потом ехал в город, чтобы встретить ее после спектакля.

Она играла часто, но все это были роли в массовках. Актерского роста они не давали, а времени отнимали много. Когда Аня уходила на утреннюю репетицию, он, полусонный, закрывал дверь и снова ложился. Потом просыпался окончательно, завтракал и курил на балконе. Садился за машинку барабанить обзор в очередную однодневку.

Иногда он уезжал на несколько дней к матери, и Аня жила одна. Время от времени она уезжала тоже: на короткие гастроли в провинцию. Единственной просьбой, когда она уезжала, была просьба не подходить к телефону.

– Пусть думает, что я одна, – пожимала плечами. – Кому охота чувствовать себя идиотом?

Он обижался, но стоило Ане закрыть двери, как внутренний голос убеждал, что так действительно лучше. Что нехорошо лишать Виталика подобного мизера. Слова для внутреннего голоса находились легко, и он был рад верить им. Жизнь в отдельной квартире была слишком безмятежной, чтобы портить ее подобными мелочами.

Виталик звонил редко, но когда звонил, они с Аней часами болтали. Никакого подвоха, разговор только в приятельских тонах. Но катастрофа все-таки случилась. Это произошло весной, когда он вернулся от матери, а Ани еще не было. Он поискал ее расписание, но книжечка репертуарного плана завалилась за диван. Там и обнаружился этот проклятый ремень. Среди комков пыли чужой мужской ремень – он лежал так, словно его только вчера бросили.

Подозрения тут же выскочили и набросились на него. Конечно, да, конечно, Виталик. Кто же просто так отдаст квартиру? Все эти ночные разговоры. Телефон, не отвечающий, когда он уезжал. Те самые мелочи, ставшие вдруг кричащими. Воображение рисовало ему отвратительные сцены, которые происходили в квартире в его отсутствие. Он видел подробности так, словно сам снимал на пленку. Ревность и обида захлестывали его, но через минуту тот же внутренний голос нашептывал, почему еще этот ремень здесь очутился.

Сперва он хотел оставить все как есть – и пусть будет как будет. Но потом передумал и положил ремень на видное место. Он специально положил его так, чтобы Аня сразу увидела. Положил и ждал. Но ничего, кроме досады, на лице Ани не отразилось. Она тщательно скрутила ремень, бросила в шкаф и насмешливо сощурила глаза:

– Где нашел, Пинкертон?

– Там, куда вы его бросили.

Пауза.

– Что ты сейчас ищешь? – она.

Он ходил по комнате, невидящими взглядом скользя по предметам.

– Крышку от машинки.

Пауза.

– Она на подоконнике.

Пауза.

– Уходишь?

Замок на крышке щелкал, он поднимал и выносил машинку. Ставил в коридор к ботинкам.

– Вещи потом, вот ключ, – связка брякала на телефонный столик.

Аня пожимала плечами и выходила на кухню.

Садилась спиной к двери.

– Или ты хочешь что-то сказать мне? – не выдержав, кричал он из коридора.

Она молчала.

– Это то, что я думаю?

– Какая разница.

– Какая?! – опускался на пол.

– Если ты так думаешь, какая?

– Ты хочешь сказать...

Она резко поворачивалась:

– Я ничего не хочу сказать.

– Так я ухожу?

Как только он задал этот беспомощный вопрос, сражение кончилось. Теперь Аня могла придумать что угодно или не говорить ничего. Никаких прав выяснять и спрашивать у него больше не было. Не ей, а ему предстояло вымалывать прощение.

Однако история, которую рассказала Аня, превзошла даже те картины, которые рисовало его воображение. Оказывается, ремень этот принадлежал не Виталику, он принадлежал австрийцу, с которым Аня жила в прошлой жизни и о котором вскользь рассказывала. И вот на днях этот австриец вернулся, предъявил права.

– Не знаю откуда! – кричала Аня, глядя в пустое окно. – Нашел, позвонил, напросился. Сказал, что у него есть что-то о моей бабке. Что хочет передать. Тебя же не было!

Монотонно, с паузами на глубокие затяжки, Аня говорила. А он сидел на полу в коридоре, оглохший от боли, и не понимал, как жить со всем этим дальше.

Австриец, рассказывала Аня, ползал на коленях и клялся, что не может ее забыть. Готов увезти, жениться. Готов на все ради одной ночи. А когда Аня попыталась выгнать его, набросился и взял силой.

– Он массажист. Не руки, тиски.

Показывала синяки.

– Потом сказал, что ждет в «Национале». Будет еще неделю, если решусь уехать.

Аня рыдала, а он молчал. Внутри все оцепенело, покрылось льдом. Что оставалось, когда жизнь кончилась? Жалеть? Ненавидеть? Простить? Если да, то за что? И кого? Чтобы отвечать на подобные вопросы, нужен опыт, но никакого опыта у него не было. Ни бросить ее, ни быть рядом он не мог.

Когда она заснула, он еще сидел на кухне, а ближе к утру лег на край постели. Уснул, тут же проснулся. Принятое решение было единственно возможным, и он, одеваясь, с наслаждением представлял, как врежет ремнем по холеной круглой роже (почему-то лицо представлялось круглым). Как австрийца перекосит от недоумения и боли. А он будет хлестать и хлестать.

Через сорок минут он вышел на станции «Проспект Маркса». Шел мокрый снег, пустую площадь покрывали огромные лужи. Отражаясь в лужах, гостиница «Москва» напоминала печатную машинку.

Он потянул дверь, и та тяжело подалась. Из фойе ударил теплый воздух, пахнувший кофе, табаком и сдобой; воздух, наполненный бодрими разговорами и звоном посуды.

Под настороженными взглядами привратников, оставляя на красной дорожке следы от снега, он прошел к стойке.

– У меня встреча с господином...

Губы с омерзением выговорили немецкое имя.

– Как вас представить? – человек снял трубку, а другой рукой открыл журнал.

Он молчал.

Рука с трубкой медленно опустилась, рычаг щелкнул. Человек за стойкой еще раз прошелся пальцем по странице, покачал головой.

– Гостей с таким именем в нашем отеле нет.

Он попросил проверить, уточнить – может быть, съехал? Если да, то когда и куда? Но повторный поиск результата не принес тоже. Мужчина из Австрии с таким именем в «Национале» в последний месяц не проживал.

12. Москва – «Москва»

С тех пор как я пришел на программу, Москва отодвинулась в дальний угол. Города, где я родился и вырос и который так любил, больше не было. То, как быстро он исчез под натиском нового времени, еще недавно причиняло боль. Но со временем эта боль притупилась. Раз города, который я любил, больше нет, пусть новый не будет иметь ко мне отношения. Если те, рядом с кем ты идешь по улице или едешь в метро, – москвичи, лучше быть кем угодно, но только не жителем этого нового и некрасивого, населенного чужими и грубыми людьми города.

Данте называл себя «флорентийцем родом, но не нравами». Так и мне, чтобы выжить в новом городе, требовалась дистанция. Нужно было приучить себя не принимать этот город, не впускать внутрь. Называть его и думать о нем в кавычках. Отделить от себя. Возвращаясь в «Москву» со съемок и все меньше узнавая город, я убеждал себя, что рад этому. Чем хуже, тем лучше, пусть поскорей зарастет травой.

Боль проходила, но мне хотелось уничтожить даже память о ней. Будь в «Москве» гостем, туристом, говорил я себе. Смотри на все, как если бы тебя окружал Пномпень или Гонолулу. Наблюдай с бесстрашием исследователя жизни во всех проявлениях. Почаще напоминай себе, что исчезали и не такие города мира.

Но с каким трудом давалось мне это бесстрашие! Как некая буддийская практика, оно требовало ежедневной работы ума и сердца, памяти. Хотя никаких гарантий, что эта работа приведет к освобождению, не было.

Я жил в «Москве» постояльцем: от одной поездки до другой. Сидел в Интернете или за книгами, собирал материалы. И ждал одного – когда наш фургон выползет за ворота студии, а потом и за Кольцевую, и дальше, дальше.

За «Москвой» нас встречала страна, чье прошлое лежало в руинах. Но это были руины, а не пустота. Эти руины завораживали, поскольку по ним, как по книге, читалась история. Не та история, которую расписывали в книгах, придумывали в школе или показывали в патристических фильмах. В полуразрушенных и заброшенных и никому, кроме нас, не нужных дворцах и монастырях, усадьбах и фабриках лежало настоящее прошлое. Это прошлое, это исчезнувшее время было свободно от настоящего. Но именно в нем заключался смысл того, что происходило сегодня. Шифр, ключ. Но в чем? И какой?

Все это были новые и важные для меня вопросы. Встречаясь с друзьями, чтобы поделиться ими, я ждал отклика. Но те, кого я считал друзьями, давно превратились в тех, кому не интересно ничего, кроме собственного благополучия. А когда я говорил об этом, меня поднимали на смех. Хорош ли мир, окружающий нас, или плох? Хороши ли мы в этом мире? Свободны ли? Живем как мечтали? Если нет, то почему? И кто виноват в этом? Что нужно изменить, чтобы вернуть свое прошлое? Стать собой? Эти вопросы волновали их меньше всего, если волновали вообще. Они оставались по-прежнему умными, образованными, тонкими людьми. Но течение времени и образ жизни приучили не допускать мысли, что в мире может происходить что-то противоречащее их планам. Что правильная жизнь может идти не тем единственным образом, который они выбрали.

Мне было жаль их, но чаще я жалел себя. Ведь это я не сумел стать таким, как они, самоуверенным и безмятежным. Это я изгой, не вписавшийся в жизнь и новое время. Это я неудачник, пропустивший свое счастье, если вообще знающий, что это такое.

Постепенно мы перестали говорить об этом. А потом перестали встречаться. Я бы остался совсем один, если бы не племянница Маша. Удивительно, но в компании ее приятелей я нашел отдушину. Пока я женился и разводился, а потом ездил по стране со съемками, Маша успела стать красивой двадцатилетней студенткой. Заехав как-то раз к ней на съемную

квартиру – что-то взять или передать, не помню, – я попал на вечеринку. Среди таких же, как она, аутичных, улыбчивых и тощих девушек, нахмуренных и вечно ироничных, смотревших исподлобья юношей я впервые за много лет почувствовал себя дома.

Спорить с ними мне не хотелось. Не возникало мысли ухаживать за какой-нибудь девушкой. Просто сидеть в углу дивана на кухне, просто смотреть – на их жесты и улыбки; как они готовят коктейли или салаты; неумело и решительно пьют водку; а потом играют в мафию или рассказывают по кругу истории – вот что мне нравилось.

Глядя на этих молодых людей, я видел новое поколение. Но впервые за много лет новизна не вызвала отвращения или ревности. Наоборот, эти люди оказались мне ближе, чем сверстники. И я радовался этому, как ребенок.

По своим дням я гулял с дочкой. Мы ходили в зоопарк или на каток; на утренний спектакль в тот самый театр, ведь они жили рядом, так уж вышло. Но жизнь в разъездах давала себя знать. Я больше не находил в дочке той замкнутости и задумчивости, которые так меня трогали. Она слушала все меньше, а отвечать старалась, как мама, заранее отводя мне роль человека, который всегда что-то должен. Но винить в том, что вышло, нельзя было никого, кроме самого себя.

Последняя улица в городе, не вызывавшая неприязни или тоски, была Большая Никитская, бывшая Герцена. Здесь прошла большая часть моего прошлого, и я возвращался сюда снова и снова, желая понять, почему все случилось так, а не иначе, и какой в этом смысл. Улицы и скверы, подъезды и подворотни, кафе и магазины, дворы, где мы гуляли, давно изменились. Но именно то, что улица со временем преобразилась, давало надежду, что и у моего прошлого есть будущее. Чем меньше общего удавалось обнаружить с улицей, где мы с Аней были счастливы, тем отчетливее мерещилась возможность продолжения.

Что касается «Дневника», вывезенного с Острова, в Москве я забыл о нем. Тетрадь нашлась, когда пришло время снова собирать сумку. И я с изумлением Робинзона развернул страницы в черном клеенчатом переплете.

13. Так это ты? Дневник неизвестного

Подробно рассказывая о пройденном пути, я ничего не сказал о Любви. Да и зачем говорить о том, чего не было. В разные годы мне нравились две-три девушки, но разве можно назвать это увлечение Любовью? Тем всепоглощающим, сжигающим и возрождающим душу чувством, которого я ждал всю жизнь? И вот теперь, когда в прожитых днях осталась моя одинокая юность, она пришла – беспощадная, безысходная. Любовь, испепелившая душу.

7 марта 1935 года – этот день я запомнил во всех подробностях. Как зашел после занятий в нашу библиотеку; увидел библиотекарку, и луч из окна – как он падал на лицо этой немолодой женщины и трескался в круглых очках; как блестели золотые корешки старых энциклопедий на полках у нее за спиной; и только потом ее, незнакомую девушку с книгой в руке.

Она держала книгу Чуковского о Блоке. Сперва меня заинтересовала именно книга, ведь Блок был моим кумиром. И вдруг – вот она, эта книга.

– Берете? – спросил я.

– Вы тоже хотите? – Она услышала в моем голосе разочарование.

– Ничего, возьму после.

Мне ничего не оставалось, как смириться.

– Я верну через пять дней, – она обрадовалась и смутилась. – Очень хочется прочитать. Заглянула в глаза.

– Иногда ведь не думаешь, да найдешь книгу, правда?

Выбрав еще одну, она сложила книги на стол.

– Эти, – робко сказала. – Можно?

Стопка получилась большой, и библиотекарка не разрешила.

– И ту хочется взять, и эту, – сказала девушка как бы про себя. Снова подняла на меня глаза.

Они были светлые, серовато-голубые, а у самого зрачка зеленые. Русые, слегка волнистые и недлинные волосы. Невысокая легкая девушка. Невесомая стремительная походка.

Вот и все. Но когда я шел обратно, никак не мог понять: почему до сих пор перед глазами ее взгляд? Почему во мне звучит ее тихий уверенный голос?

– Нет, но как же... – говорил себе.

А в ответ видел, что все кругом преобразилось. И стены, выкрашенные зеленой масляной краской. И люди, безразлично бегущие в коридоре. И солнце, минуту назад косо бьющее в окна – а теперь вдруг залившее коридор ярким весенним светом.

Мне стало страшно и радостно, ведь в мою жизнь вошло что-то небывалое. Так обычно и невзначай. Безо всяких приготовлений и намеков. Как что-то само собой разумеющееся – и вместе с тем новое. А в душе все пело. И стены в коридоре, и полы, и доска объявлений – пели тоже.

– Так это *ты*? – ошеломленно повторял я.

«Любовь с первого взгляда». Не знаю. Не может быть, чтобы мы не виделись раньше. Но человек слеп, пока не окажется нос к носу. Глух, пока не услышит голос.

Это мгновение взгляда, оно все решило. Все расставило по местам. А еще интонация, как она сказала: «Хочется взять ту и эту книгу». Оттенок сожаления и оправдания. Размышления.

Где и когда я слышал эту мелодию? Ну конечно, так в моем воображении говорила любимая героиня: Тави из «Блистающего мира» Грина. И вот теперь эта мелодия звучала наяву.

Через три дня мы снова встретились. Она занималась в читальном зале, делала выписки. Взглянула, задержала взгляд, словно припоминая. Не узнала, опустила голову. Мало ли студентов, с кем переброшишься словом?

С того дня мир стал певучим. Отныне все вокруг пронизывала «музыка сфер», о которой говорили древние. Пусть хоть что-то в этой девушке было бы не так – я перестал бы слышать музыку. Но она звучала, а значит... Каждое новое впечатление сливалось с первым и расширяло его. Музыка играла все громче. Мне нет возврата, понял я. Корабли сожжены!

Снова военные сборы на Карельском перешейке. Но в этот раз служба тяжеловата. То ли сказались недоедания, то ли требования. Хотя, скорее всего, изменился я. Перебежки под воображаемым огнем, ползания и окапывания – все теперь казалось нелепой, глупой игрой. Внутренний голос говорил, что это нужно. Что готовиться к войне надо в мирной обстановке. Но ползать по лесу, где бабы собирают ягоды? Или прятаться от вымышленной пули? В девятнадцать лет учиться легко, но что делать тому, кто из этой игры вырос?

Меня выручала стрельба – по меткости в роте я не знал равных. Но до срока мне все равно дослужить не дали. Однажды в жаркий день 13 июля меня вызвали. В штабе сидели двое – политрук Башаев и офицер НКВД.

Башаев просматривал бумаги:

– Садитесь. Курите?

Я взял предложенную папиросу.

– Тут поступили кое-какие материалы на вас.

– Какие? – папироса моя дрогнула.

– Кто был ваш отец?

– Дворянин.

– Сколько земли он имел? Сколько работников у него было?

И пошло, и поехало. Была земля у деда? Была, да и немало. Сколько именно? Не могу знать. Был ли дед помещиком? Бесспорно, хоть и разорился. Ваш отец пользовался доходами при жизни деда? Конечно. Много ли денег получили наследники с продажи имения? Не знаю. Каково было имущественное положение семьи вашего отца на вашей памяти?

Я мог многое вспомнить, но оправдываться было противно:

– Неважное.

Тут встал офицер НКВД.

– Зачем ты запираешься? – рявкнул он. – Я же вижу, жизнь твоя была нелегкой. Тебе тридцать, а виски седые. Зачем укрываешь отца? Ведь он был помещик!

– Он был типичный деклассированный дворянин.

Офицер сел, закурил. Не глядя на меня, сказал:

– Придется сдать обмундирование. Все. Можете идти.

Так впервые за жизнь социальное происхождение встало мне поперек дороги. Впрочем, поперек какой? Военной. Ведь опасаться исключения из университета не приходилось, там на очереди стояли троцкисты и зиновьевцы.

В университете было пусто, все на лето разъехались. И мне тоже захотелось к себе в Дубровичи. В нашу деревню. Каким же удивительным выдалось то одинокое лето в деревне! Я ловил рыбу, бродил по лесу, купался и загорал. Топил нашу старую баню, а потом высккивал на улицу и обливался ледяной водой из колодца. Все вокруг – и баня, и сарай за деревней, похожие на жуков, и деревья в поле – были мне знакомы с детства. Но в этот приезд я

впервые почувствовал себя в родных местах гостем. Почему? Потому что перед моим мысленным взором была она, моя любовь. И она меняла мир не только внутри, но и снаружи.

Иногда мне казалось, что судьба знает, куда ведет. Что все у нас сложится прекрасно. В такие минуты я шептал ее имя, не опасаясь, что его услышит кто-нибудь. Ну а деревьям можно доверить все. Это странное и новое ощущение, когда ты говоришь с лесом, а кажется, что обращаешься к ней. Что ты не один. Что гуляем вдвоем по нашим дубравам. По заливным лугам и взгорьям, взметнувшимся над Мстой крутыми отрогами. Среди золотых берез по берегам Молодкинского озера. Разве я был один? Нет, нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.